

Вера Орловская



РУССКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК



Вера Орловская
Русский Треугольник

«Алетейя»

2020

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Орловская В.

Русский Треугольник / В. Орловская — «Алетейя», 2020

ISBN 978-5-00165-170-3

Свеча – вечный спутник человека на дороге жизни, свет во тьме, озарение, живительная сила и надежда, символ человеческой души, ее внутренней силы. Одной маленькой свечи достаточно, чтобы разомкнулась тьма. Ее стойкость и вертикальность символизируют стойкость и негибаемость человеческого духа, его устремленность к высшим смыслам: пламя свечи, как бы ее ни поворачивали, всегда устремлено к небу. Свеча – символ бескорыстного служения, справедливости, милосердия, знак верно выбранного пути, поиска истины. Без свечей невозможно представить праздник Рождества и Нового года. В былые времена на Новый год тушили старые огни – и от нового, чистого, сильного пламени зажигали все очаги, свечи и факелы. С тех пор зажжение свечи – символ возрождения, обновления, новой жизни. В христианской традиции свеча – божественный свет, сияющий в мире, свидетельство причастности человека к Божественному. В каббале три свечи означают Мудрость, Силу и Красоту. Этим смыслом отвечает и название сборника – «Ода горящей свече». В сборник вошли стихи и проза 37-ми авторов, живущих в разных частях света и пишущих на русском языке. Также, по сложившейся традиции, представлены коллекции рисунков и фоторабот: на этот раз – Владимира Сычева (Берлин), Владимира Базана (Париж), Владимира Титова (Париж) и Натальи Говши (Миссиссога, Канада).

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-00165-170-3

© Орловская В., 2020

© Алтейя, 2020

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1. Антон | 7 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 37 |

Вера Орловская

Русский Треугольник

Жизнь – не те дни, что прошли, а те дни, что запомнились.
Габриэль Гарсиа Маркес

1. АНТОН

Я заметил эту женщину сразу, как только она вошла в кафе. Длинное бежевое пальто подчеркивало ее стройную фигуру, а черная шляпа с полями, чуть прикрывающими лицо, придавала некоторую загадочность всему образу, дополнением к которому был легкий, почти невесомый шарф, как будто летящий за ней сам по себе, только немного касаясь ее плеч и обнимая шею. Я узнал бы ее из сотни женщин через сотни лет, потому что она была одна такая – моя Анна, давно уже далекая от меня по физическим законам этого мира, но на каком-то другом уровне связанная со мной невидимыми, бестелесными лучами света, который всегда существовал между нами с первого момента нашей встречи. Она вросла в меня, растеклась по моей крови, стала моей частью. Я давно уже привык к этому, жил с этим, понимая, что по-другому не может быть. Со временем ее образ стал просто мечтой, видением, сном, звуком клавесина, почему-то именно его воздушность проникала в сердце, когда я вспоминал Анну. Хотя слово «вспоминал» совсем не передает тех чувств, которые живы во мне до сих пор.

За все эти годы я ни разу не встречал ее, несмотря на то что бывал в Петербурге, правда не часто и только по делам, да и приезжал сюда с каким-то внутренним напряжением. Я не пытался определить, что именно пугало меня, чего я хотел избежать, возможно, как раз встречи с ней и связанных с этим объяснений, оправданий или обвинений в чем-то, что случилось уже очень давно и теперь не могло ничего изменить, даже если бы причина нашего расставания открылась, кого бы это успокоило...

Сегодня я зашел в это кафе случайно, гуляя по Невскому просто так, без всякой цели, как турист, но не совсем, ведь этот город не был для меня чужим уже потому, что я пережил здесь столько радости и столько печали, что этих чувств хватило бы на всю жизнь. Собственно, это и произошло: ничего подобного со мной больше не случилось.

Город встретил меня дождем, но для Петербурга это был вовсе не дождь, а так – легкое вкрапление в вечерний пейзаж. Город окропил меня дождем, как будто я снова стал своим, как раньше... Я хотел зайти куда-нибудь, чтобы выпить чашечку кофе и оттуда уже наблюдать за тем, как он постепенно начнет исчезать, исчерпав себя на время.

И только войдя в кафе, я понял, что это то самое, в котором мы встретились с Анной и потом так любили приходить сюда вдвоем. Здесь почти ничего не изменилось с тех пор, даже название, невзирая на то что в стране изменилось всё, да и в самом Питере появилось множество заведений, ничего не говорящих моему сердцу, они были новыми и чужими, не связанные ни с чем в моих воспоминаниях. А в этом месте было так, как когда-то во времена моей жизни в этом городе, во времена моей настоящей жизни, а не придуманной мной позже, построенной по известным лекалам и, в принципе, нормальной в житейском смысле, но в ней не было того, что невозможно предугадать и предвидеть, удивиться и раствориться целиком в этом. Такое дается один раз или не дается никогда, а мы продолжаем жить, не подозревая, что оно возможно.

Я сел на свое любимое место – за столиком, немного скрытым колонной таким образом, что мне были хорошо видны вход и сам зал, но я при этом оставался почти незаметен, что давало мне необходимое ощущение отстраненности, покоя и погружения в свои мысли. В большом городе этого не хватает: маленького островка в бушующем потоке Невского, в потоках чужих жизней и чужих судеб. Люди двигались мимо большого окна. «Так может пройти сто лет, – подумал я, – и всё будет тоже самое, только лица другие, а может быть, похожие на эти или те же самые лица: никто уже не сможет этого проверить». За чашечкой кофе хорошо было отрешиться от пустой суеты и просто быть, существовать в этом пространстве без времени. Позволить себе хоть ненадолго выпасть из него, освободиться от границ, ограничений, заданных им. Мысли уносили меня далеко отсюда, и это происходило само по себе, словно воздух

уплотнялся и время как будто сжималось в упругий шар и бросало его мне: «Лови!» Я поймал свое прошлое, пытаюсь разглядеть в нем всё и даже то, что когда-то считал незначительным и неважным, стараясь подольше удержать этот образ, пока он не расплылся перед глазами, не распался на тысячи мелких шариков, в каждом из которых была моя жизнь: годы, дни, часы и минуты, на которые никто не обращает внимания, пока они есть и тем более если их уже нет.

В таком состоянии я находился до того самого момента, когда открылась дверь и вошла она. Это был не сон, не призрак ушедшего, не образ, созданный в моих мечтах за прошедшие годы, а торжествующая реальность: женщина плоть от плоти, живая и настоящая Анна. На первый взгляд, она была такой же. Стиль женщины – это ее характер, ее истинное лицо. Она осталась верна себе: эта любовь к шляпам, этот контраст в цвете, свойственная ей утонченность и, как она шутила сама, утверждая, что «минимализм в одежде дает свободу мужскому воображению», – всё это было ее. Ничего лишнего: лаконично и просто, но так притягательно-женственно. Я любовался ею, как прежде.

«Интересно, сколько ей сейчас лет может быть?» – подумал я. Сколько же мы не виделись: десять, пятнадцать? Даже страшно измерять время десятками. Десятиричная система исчислений. Новый, невиданный мир. Другая планета. Время как будто остановилось в этом кафе выпить кофе. Только вчера мы сидели с ней за этим столиком. Она улыбалась, преподносила чашечку к губам так нежно, словно хотела ее поцеловать, а не сделать один и еще один глоток. Мне нравилось наблюдать за ее движениями, нравились ее руки, пальцы, обнимающие ручку белой чашки. Анна всё делала со вкусом, вкусно, как говорил я, делала, наслаждаясь и разговором нашим, и кофе, при этом иногда кончиками пальцев она трогала цветы, которые я принес для нее. Казалось, что Анна всё это хочет запечатлеть в себе, запомнить, как художник запечатлевает пейзаж на своей картине. Именно это поразило меня в ней в самом начале нашего знакомства: какая-то необычайная любовь к жизни, ощущение ее даже в мелочах и умение радоваться простым вещам, не требуя чего-то другого, кроме того, что у нее было в этот момент.

Может, это звучит банально, ведь кто же из людей не любит жизнь... И мне ли не знать об этом лучше кого-либо после тех страшных полутора лет на чеченской войне, где ценишь каждый час и каждую минуту, потому что не знаешь, что случится через мгновение. Ни понять, ни привыкнуть к этому не возможно. Тебе приходится принимать всё, как есть, так как другого у тебя просто нет. Ничего другого. И ты вынужден закрыться от всех эмоций и посторонних мыслей, сконцентрировавшись на одном, ведь от этого зависит твоя жизнь. Поэтому нужно отбросить всё, что не касается конкретных действий в этот конкретный момент, чтобы всегда быть готовым ко всему, потому что противник может выстрелить первым. Твой автомат наготове, только взвести курок... Говорят, что люди от этого черствеют. Нет, они в каком-то смысле на время перестают быть собой...

Сейчас мне не хотелось думать об этом, потому что за несколько столиков от меня сидела женщина, ради которой я смог бы умереть, но жить с ней не смог, хотя в этом не было моей вины. Так мне казалось. Но даже теперь я не имел права подойти к Анне, обнять ее и сказать, что думал о ней каждый день. Интересно, поверила бы она? Удивилась бы? Хорошо, что Анна не видит меня, – говорил я себе. Зачем ей нужны все эти мои запоздалые признания? У меня – своя семья: жена, дочь. У нее – своя жизнь: муж, сын. Но о чем я вообще говорю? При чем здесь это? Не о том всё... Ведь, по сути, я сбежал от нее много лет тому назад, если посмотреть на мое исчезновение с ее стороны. Я и тогда понимал, что она именно так оценит мой поступок. Но про себя знал другое и считал, что тогда не мог поступить иначе. Может быть, потому, что был слишком молод, слишком прямолинеен или потому, что привык делить всё на черное и белое, как это было на войне...

Но мне 42 года, и я уже другой человек. Иногда в самом деле кажется, что я прожил несколько жизней: до войны, после войны, до Анны и после нее. Это были разные жизни и

разные люди их проживали, только под одной оболочкой, в одном и том же теле с именем Антон. Да, странно звучит: «тело с именем Антон». Когда со мной это случилось? В Чечне я был телом. А потом? Потом появилась Анна и из двух тел образовалась одна душа. Наверное, неправильно так говорить с точки зрения религии, но я так чувствовал тогда.

Посмотрев в сторону столика, за которым сидела она, я испугался, что в какой-то момент мог задуматься и не заметить ее ухода, а мне так не хотелось, чтобы она ушла. Я готов был сидеть здесь целый день, лишь бы только знать, что Анна находится рядом, смотреть на нее, ловить взглядом движения ее рук. Вот она сняла шляпу и положила на сумочку, лежащую на пустующем стуле. А ведь там мог сидеть я... Эта мысль была такой простой и очевидной, что я готов был уже встать, чтобы идти к ней, идти за ней, как тогда, в холодную осень в начале века. Но что-то меня остановило, словно прижало к стулу: мое тело стало таким тяжелым, как будто я находился на другой планете, где всё по-другому, и я понял, что мне уже не взлететь. Я попросил у проходящего мимо официанта принести мне еще чашку кофе и бокал красного вина. Взглянув на Анну через несколько минут, я заметил, как официант принес и ей тоже чашечку кофе и бокал красного вина. Я улыбнулся своим мыслям: «Синхронно, как раньше». Тогда у нас часто случалось такое: мы могли хотеть одного и того же, думать об одном и том же и, казалось, могли бы продолжить мысль другого. Ничего не изменилось. Ничего не произошло. Только мы потерялись и не смогли отыскать друг друга. Вот так до сих пор ходим по незнакомому лесу и аукаем: кричим и не докричимся никак...

Я попал в Питер после ранения прямо из Грозного вместе со своим другом Костей, с которым мы познакомились еще раньше, когда три дня просидели в БТР под завалом. Два люка на крыше машины были наглухо прижаты камнем, а основное средство высадки – бортовые двухстворчатые двери, которые открывались вперед по ходу, открыться никак не могли, потому что этой стороной машина была прижата к горе, так как дороги там слишком опасные, чтобы ездить посередине: любой отскочивший камень мог образовать пустоту, в которую может попасть колесо, и тогда – лететь тебе с ветерком вниз, что вполне вероятно при этом... Вообще в БТР должны находиться основных три человека: это командир, механик-водитель и наводчик, но машина предназначена так же для перевозки десанта и чаще всего именно это и происходит. В количестве семи человек они размещаются внутри машины и столько же может находиться на броне снаружи. Но здесь сидеть на броне – это значит практически быть мишенью для боевиков, особенно в горах, когда из-за любого камня могут появиться бородатые чудовища или издали тебя достанет снайпер и ты даже не успеешь понять, откуда стреляли...

На тот момент в нашей машине был не полный комплект, то есть трое нас и еще пятеро десантников. В отделении управления слева и справа находился командир и механик-водитель (два в одном), ну и естественно – наводчик. А за нами, так сказать, в кормовой части, сидя лицом к борту, парились, изнывая от жары, на двух продольных пластиковых сиденьях пятеро десантников в полном камуфляже. Это, по сути, была уже консервная банка, в которой мы, как есть, в собственном соку – в поту, пытались дышать чем-то еще, кроме пыли, саднящей горло. Нам нельзя было оттуда выбраться, и позвать на помощь своих тоже было невозможно, потому что поступил приказ – не высовываться, не подавать никаких звуков и ждать. Мы ждали, слыша совсем рядом голоса боевиков, не знавших, что в заваленной машине остались люди. Было страшно, когда голоса приближались, потому что, если бы они обнаружили нас, то это бы означало только одно – смерть, но еще ужасней был бы плен: это вначале пытки, а потом все равно смерть, но гораздо мучительная, чем просто выстрел. В любом случае нам нельзя было вылезти оттуда самим, хотя быть замурованными в БТР тоже не сулило никакой возможности выжить, это вполне походило на медленное умирание. Жара стояла такая, что дотрагиваться до железа было все равно что совать пальцы в огонь. К тому же совсем не хватало воздуха в этой закупоренной машине и временами хотелось, наплевав на все приказы, вылезти на минутку, чтобы подышать, вдохнуть хотя бы в последний раз перед смертью. А когда закончилась вода, стало

понятно, что долго без нее мы не протянем, я уже не говорю о еде, ведь никто не предполагал, что нам придется жить в бэтээре, поэтому запастись дополнительным сухим пайком не сообразили.

Мы не успели проскочить до того момента, пока с гор не покатались камни от начавшейся сели и не перекрыли дорогу, которую и так с трудом можно было назвать этим словом. Получалось, что мы становились живой наживкой для боевиков, на которую они могли бы ловить тех, кто попытался бы прийти к нам на помощь, и только то, что они не знали о нашем нахождении в машине, спасало нас.

Когда тебе чуть за двадцать, невозможно принять такую глупую смерть, даже не от пули, а от этого замкнутого, безвоздушного пространства, в котором ты находишься как заложник, мученик, обреченный... Ты просто притворяешься, будто понимаешь, что происходит и что способен предположить дальнейшее, а на самом деле ты ничего не понимаешь, потому что не можешь представить: как это тебя больше не будет. Ты продолжаешь верить в спасение из последних сил, выключив на время здравый смысл. Хотя ты не сегодня появился здесь и, значит, видел, что с кем-то происходило именно то, о чем ты не хочешь вспоминать, и ты продолжаешь думать: «А меня пронесет». Оно стучит в твоей голове, но иногда что-то подходит к горлу, накатывает волной и хочется зарыдать, как будто всё это уже случилось с тобой. По ком звонит колокол? Колокол звонит по тебе... Поэтому лучше не думать об этом вообще.

Человек странно устроен, даже на войне – в этом аду, примерно через месяц на тебя снисходит благословенное чувство пофигизма, похожее скорее на некое бесчувствие, наркоз, который впрыснули тебе в вену. Наверное, это происходит потому, что ты еще слишком молод, а вокруг такие же, как ты, пацаны, и вы рассказываете друг другу анекдоты, курите и смеетесь, вспоминаете свою жизнь на гражданке, говорите о том, что стреляют далеко, еще далеко, значит, можно не волноваться. Отмахиваетесь рукой. Вы ждете, когда подойдут ближе, и поэтому у вас еще есть время, время жить...

Вначале, сидя в БТР, мы тоже шепотом пытались поддержать друг друга, мы надеялись, что вот-вот придет освобождение, но потом стали думать, что о нас забыли. Да, просто забыли о том, что мы есть и все еще живы. Может быть, какое-то время назад помнили, а потом решили, что уже поздно и нечего дергаться: погибли, мол, парни. Мало ли их погибало таких, как я и Костик, не понимающих толком – зачем они там. Но мы тогда не знали, что к нам просто не могли подойти, потому что дорога была взорвана, а вокруг, как шакалы, бродили ваххабиты, спустившиеся с гор, где они обычно скрывались днем. Вполне возможно, что если бы наши начали атаку, то они могли попытаться укрыться в этой машине, где сидели мы и, конечно, обнаружили бы нас. Тогда бы точно расстреляли или просто бы взорвали БТР вместе с нами при своем отступлении, чтобы создать этим препятствие для наших.

Моментами я вырубался, проваливаясь то ли в сон, то ли в бессознательное состояние, потому что организм уже отказывался бороться за свою жизнь, у него больше не было сил. Это было похоже на небытие, в котором ничего нет или ты просто ничего уже не чувствуешь, совсем ничего... Полная темнота. И вдруг в этой темноте появляется мама, молодая и нарядная. У нее такое красивое платье изумрудного цвета, она надевает его, когда они с папой идут в театр, а я остаюсь с бабушкой. Я еще маленький, и мне совсем не хочется, чтобы мама уходила, потому что от нее так сладко пахнет цветами, и платье у нее такое мягкое, когда его трогаешь рукой, оно приятное, как шерстка у кота Кузи, он тоже бархатный. Я обнимаю маму за шею и не отпускаю, повторяя все время: «Мама, мама, мама...» И в этот момент я чувствую, как кто-то зажимает мне рот, и от того, что мне становится трудно дышать, я просыпаюсь. Рука Кости лежит на моем лице, плотно прижатая к моим губам. И тогда я понимаю, что, наверное, кричал во сне и ему пришлось закрыть мне рот, так как это было опасно для всех нас. Я отбросил его руку и опять провалился в сон. Но там уже было почти лето. На даче у деда жужжат пчелы и пахнет скошенной травой. Я сижу у него на руках и трогаю пальцами ордена, прикрепленные

к пиджаку. Он надевает их только один раз в году именно весной. Дедушка гладит меня по голове, а я спрашиваю у него:

– Почему это у тебя, деда? – показывая на медали.

– Потому что мы победили, – говорит он.

– Немцев?

– Всех победили. И немцев тоже. Запомни, Антоха, мы всегда побеждаем. Всегда и всех.

Я открыл глаза и понял, что дед ушел. Он там, где солнце и черемуха белая-белая, там, где весь белый свет. А я туда не могу пойти, потому что мне из этой машины никуда нельзя, из темноты этой душливой никуда нельзя уйти...

Потребовалось три дня, чтобы нас вытащить, голодных, измученных и очумевших от страха, можно сказать простившихся уже с жизнью. Это было как чудо, которого ты перестал ждать, понимая, что на этой войне твоя жизнь стоит рубль с мелочью, если она вообще что-то стоит. Вокруг творилась такая неразбериха, из-за чего иногда начинало казаться, что нас просто отстреливают, как на охоте. И судя по тому, какие неточные координаты давались для нанесения удара, то за ближайшим углом дома тебя вполне могла ждать пуля своего же бойца. Не специально, конечно, нет, а от тупости некоторых приказов и от нежелания думать о жизни пацанов, брошенных в этот ад, непонятно за какие грехи, не успевших еще нагрешить. В такие минуты ты волей-неволей спрашиваешь: почему именно меня? И не находишь ответа, и только душит глухая обида на то, что до тебя по большому счету никому нет дела, что ты всего лишь инструмент этой войны: винтик, гайка, болт. Забили болт на нас...

Не потому ли среди солдат ходили байки о настоящем батяне – генерал-лейтенанте Рохлине, защитнике солдат? Это было чем-то вроде акафиста для верующих: полумифический персонаж для тех, кто его ни разу не видел, а только слышал от других, которые знали его или воевали с теми, кто знал. Легенда. А без веры на войне никак: нужно верить хоть во что-то... Слухи здесь расползаются быстро. Особенно удивило всех то, что он отказался от звания Героя России. Передавали даже слова генерала, который якобы сказал, что не в его правилах получать награду за гибель ни в чем не повинных 18-летних мальчишек. Рассказывали также, что батя считал эту войну бессмысленной и неправильной. Я тогда не мог поверить в это, иначе пришлось бы признать, что пацаны, погибшие на моих глазах, отдали свои жизни заря. К тому же мне не всё тогда казалось таким однозначным: с одной стороны, я понимал, что война эта грязная, потому что кто-то на этом зарабатывает деньги; с другой стороны, я сам видел этих отмороженных ваххабитов, среди которых было много наемников из Афгана, а еще различных инструкторов, они как раз обучали местных подрывному делу, но были, конечно, и добровольцы из арабских стран, и не только арабских, но даже из тех, кто когда-то жил с нами в одной стране, называвшейся Советским Союзом.

Меня уже мало что удивляло. Примерно до четырех или пяти часов дня мы чувствовали себя здесь уверенно, как будто сила была на нашей стороне. Местные жители вели себя спокойно и вроде бы примирительно, а ближе к вечеру всё изменялось: сверху, с гор, а потом уже, казалось, ото всюду начинались обстрелы. Укрываться у местных в это время тоже было опасно: там могла оказаться засада. А внизу мы были как на ладони – стреляй не хочу, к тому же в темноте хрен увидишь, из какого дома они палят, – пока туда добежишь, стрельба уже может быть из другого места. И вроде как: они – свои, а мы – чужие теперь.

Изменялось здесь всё очень быстро, и сразу понять, что происходит, мы не успевали... Но самую большую угрозу для нас представляли как раз эти сотни обученных опытных головорезов, входивших в диверсионные террористические отряды. Они закалились еще в первую чеченскую войну, а может быть, еще с Афгана не растеряли своих навыков. А у нас некоторые даже стрелять толком не умели, как будто их в какой-то безумной спешке бросили сюда, не понимая, что воевать нужно учиться так же, как любому другому делу. Если ты ничего не умеешь, то процент того, что уцелеешь здесь, стремится к нулю. Нужно знать, как окапываться,

как пробираться перебежками, используя всевозможные складки и неровности местности, как самому на скорую руку сделать укрытие и многое чего еще. Но, даже став более или менее готовым бойцом, ты все равно испытываешь страх, только дурак не боится, умный просто не признается в этом, ведь инстинкт самосохранения никто не отменял, а страх – именно то, что подталкивает к нему, а значит, помогает выжить в какой-то мере. Но со временем это становится скорее осторожностью, а не страхом, потому что он как-то притупляется... Человек – странное существо: он ко всему привыкает, или это из-за того, что во время боя всё так быстро происходит, что ты не успеваешь до конца осознать этого в тот момент, а накрывает уже позже, у кого-то истерика может случиться, но это после... На войне ты узнаешь себя. И даже то, чего не знал о себе раньше...

Нас, конечно, учили держать свои нервы в руках, проводили с нами какие-то психологические упражнения, чтобы по возможности исключить боевые психотравмы. Ну да, ну да... Как же их исключишь? На самом деле всё было гораздо проще и страшнее. Я помню одного «учителя», – может быть, сейчас я бы сказал ему спасибо, но тогда мне это казалось пыткой: он показывал нам ролики, снятые боевиками, на которых пытали, вспарывали животы и отпиливали головы ножовкой. Этот шизик, как за глаза мы называли его, заставлял нас смотреть подобные ужасы. Правда, после такого «кино» в плен никто не сдавался, это факт неоспоримый. Такая вот нехитрая пропаганда, но врач тоже иногда делает больно. В общем, он не был каким-то извергом и за наши спины никогда не прятался. А здесь по-настоящему человек открывается только в бою. Я помню свой первый бой и то, как ребята прикрывали меня, потому что все помнили, что когда-то у них тоже это было впервые и кто-то помогал им самим.

Я стрелял из пулемета ПКТ: видел в прицел боевиков и строчил, не жалея патронов. Вопрос в том, попадал ли я, – не знаю, сознание было, как в дыму. А когда стемнело, мы уже стреляли на вспышки: палили туда, откуда появлялся огонь. Ну, если всё затихало на время, тогда ложились спать прямо на снегу, подложив под себя доски, и, чтобы теплее было, прижимались друг к другу, как щенки. Ваххабиты отходили перед рассветом и, находясь далеко от нас, уже не представляли угрозы, и в этом случае мы могли даже позволить себе развести костер, чтобы не задубеть вконец, ведь ночью в горах холодно, а ветер пронизывает насквозь, кажется, что до самих костей. Особенно паршиво зимой, когда мороз, который при таком ветре вообще пипец. Я однажды так замерз, что не мог рук из карманов вытащить. Ребята растапливали потом снегом, потому что сразу к огню совать их нельзя, так они мне объяснили...

Но страшнее всего было ходить на задержания или, как говорили, на зачистки. Вокруг дома располагались пулеметчики с гранатометами и снайперы, а если в доме находились боевики, то «группа нарыва» никогда не возвращалась в таком же составе, всегда были убитые, об этом все знали, но приказ есть приказ... К дому пробирались, распределившись в цепочку, человек по шесть. Пробежишь метра два, потом дальше несешься, приходилось и десять метров бежать: перепрыгиваешь из одного укрытия до другого; если получилось – радуешься. И вот уже контрольная группа выводит из дома, видимо, старшего: мужчину средних лет, смурного и бородатого. Глаза сверкают, как угли в преисподней. Ну и что? Спрашивать его о том, есть ли еще кто в доме, не считая женщин и детей, глухой номер – всё равно не скажет. Боевики они не сдают: то ли боятся их больше, чем нас, то ли родственник среди них имеется, то ли Аллах не разрешает. Хрен поймешь их вообще: сидишь иногда с ними в доме, вроде люди как люди: чай пьешь, хлеб ешь вместе. «Благослови Аллах мясо белый овса», – говорят, сложив ладони вместе и проводя ими по лицу. Спрашиваешь миролюбиво так, есть ли кто в доме, они миролюбиво Аллахом тебе клянутся, что нет, спокойно, мол, всё: ни бандитов, ни оружия никакого, а ночью оттуда – из того села – из дома того обстреливают нас... Вроде соседи, но это всё только условно, хотя и водку нам продают – хреновая, правда, у них водка... Залейтесь вы ею сами, так не пьют же, им их Бог не велит пить. А убивать велит, что ли? Я слышал, что вроде бы нет. Мне рассказывал один кент, что в Коране написано: «Убивая одного человека,

ты убиваешь весь мир», как-то так... Но ваххабиты, те за джихад до последнего неверного – «гяура», как они называют иноверцев. А потом в казарме нашей кровати пустые и свечечки рядом с фотографиями...

У молодых пацанов, конечно, от всего этого крышу сносило, и тут уж никакого гуманизма. Как-то в одном из подвалов нашли мы наемников раненых, среди них в том числе были украинцы и даже русские – из разных городов, не помню уже каких. До меня не доходило, за что они воевали против своих же. Помню, с какой ненавистью смотрели на меня, я еле сдержался тогда, автомат сжимал так, что аж пальцы побелели. А эти суки начали причитать и ныть, чтобы мы их не убивали, потому что у них дома семьи, дети. А у нас, значит, нет ни мамы, ни папы – сироты мы все бездомные и безымянные и сюда пришли в войнушку поиграть, блядь... Так случилось, что как раз перед этим пуля снайперского патрона 7,62-миллиметра в крышу нашей машины вошла как в масло, водителя убило, но мы повыпрыгивали из машины и отстреливались, спрятавшись за ней. Обошлось. Это как сказать, потому что еще в тот же день на нашу колонну напали, а там среди солдат были контуженые, так их всех в БТР заживо сожгли вот такие же суки, как эти... Где был, в каком месте находился этот ваш гуманизм сраный тогда? На бумажках он, которыми только подтереться, когда твоих крошат, а ты ничего сделать не можешь, кроме того, как только в глухой злобе пообещать, что отомстишь за пацанов. Война автоматически перебрасывает тебя из цивилизованного мира в первобытную дикость. Сам себя иногда боишься, но сдерживаешься, говоришь себе, убеждаешь, твердя, как мантру заученную: «Ведь это же мирное население». Поэтому весь тот гнусный треп о наших зверствах – это либеральные помои и ничего больше, они же топили за боевиков, называя их повстанцами, повторяя точь-в-точь бред иностранных правозащитников. Сюда бы их на часок хотя бы... Я тогда вдруг понимать стал, как странно всё получается с их свободой и правами... Вот мне лично по барабану, если в каком-нибудь штате буза начнется. Ну, посмотрю, может, послушаю, но вникать точно не буду, потому как не собираюсь влезать в их дела или чего-то там менять у них. А им чего не спится? Их что – всех так ипёт, как мы живем? Освободить нас от чего-то хотят беспрестанно. Так о свободе нашей беспокоятся, что кушать не могут... Утром только глаза откроют, так сразу и начинают руки ломать и в голос плакать о попираемых и угнетенных наших страдальцах, мучениках, ущемленных кровавой тиранией... За какое место их ущемили? А я так думаю: им всем чего-то от нас нужно. И чем больше они беспокоятся и чем громче кричат о правах, тем подозрительней мне это кажется. Стопудово: изменить, свергнуть, подчинить и прочая халабуйда у них в башке... И у наших гиен, подьедающих за ними, то же самое направление в извилинах распрямленных... Я ни разу не политик, и никого убеждать в своей правоте не стану, это для моего внутреннего пользования. Вот такая, скажем, народная мудрость... Я и дальше по этой формуле оценивал происходящее, уже после войны, и всё у меня сходилось и продолжает сходиться... Знать бы еще, чем оно закончится. Правда, тогда я хотел одного, чтобы скорее закончился бой и дойти до своей койки: рухнуть на нее и забыться сном...

Но самым паршивым было вести огонь в условиях города – как раз потому, что необходимо избегать потерь мирных жителей. А там всё так перемешано: кто из них мирный, кто с ножом или с винтовкой, попробуй пойми. А к какой категории наркоторговцев относить? Ребята некоторые крепко подсаживались, тихорились, конечно, а на глаза посмотришь – красные, как у кролика, понятно всё становится. Я никого не осуждаю, просто сам держался как мог, а кто-то не мог, ну да...

Операции, проводимые в городе, уносили много жизней, хотя старались быть осторожными, но тут, как повезет. Для этого создавалось несколько штурмовых групп, каждая из которых состояла из снайпера, автоматчика и гранатометчика... Обычные ребята... Да, были и отморозки, в основном среди наемников из уголовных элементов, которых даже мы боялись, черт знает, что от них ожидать... Война, она ведь тоже разная, и там проявляется, выворачива-

ется наружу всё человеческое дерьмо, а не только героические порывы... Да никто и не считает их героическими в тот момент: ты просто делаешь то, что должен делать – и всё...

В горах – свои правила: главное расположиться выше противника. Если ты над ним, то – главный: тебе всё видно, да и достать тебя сложнее. Но всё равно ты весь в напряге. Жизнь на адреналине, потому что никогда не знаешь, успеешь ли выстрелить, поэтому при себе всегда оставляли гранату и нож, на всякий случай, для рукопашной или чтобы в плен не попасть...

А ветер там такой, что днем стрелять из миномета очень сложно – не поймать точность координации, а ночью и того хуже. Но еще хуже, когда по своим же... Рисуем. Ждем, кто первый начнет. Вдруг слышим – орут: «Вы кто?» Уже хорошо. По-русски ведь орут. Посылаем с каждой стороны переговорщиков, сверяем карты. И по нашим картам выходит, что маршруты пересекаются. Твою ж мать... гребаная какая-то война. Но на тот раз повезло, что не начали стрелять сразу. Потом обнялись с пацанами, Бога поблагодарили, а больше некого...

Наверное, это и имел в виду Рохлин, говоря о неподготовленности армии. Мы часто не понимали, почему поступали такие странные приказы, но понимать нам было не положено по уставу.

Уже на гражданке я узнал много нового для себя об этой войне. И даже о гибели самого Рохлина всплывали такие подробности, о которых нам не было известно. В 1998-м, когда это произошло, я знал лишь то, что выдавали за официальную версию, – и ничего другого. Раньше Рохлин командовал 8-м гвардейским корпусом, и те, кто прошел первую чеченскую, говорили только хорошее о нем: о том, что он берег солдат и сохранил сотни жизней таких пацанов, как я. Конечно, тогда я мало что смыслил в политике и не знал многого – например, о том, что генерал обвинял тогдашнего президента в государственной измене и в развале армии (ни больше ни меньше). Хотя этот развал я мог почувствовать сам в то время, когда мы были замурованы в бэтээре. С тех пор я не езжу в метро и не захожу в лифт. Это осталось со мной на всю жизнь. И если мне все-таки приходится войти туда, то пережитые ощущения снова возвращаются, будоража мою психику и мне стоит большого труда не проявлять свои эмоции на людях, иначе я бы выглядел довольно неприглядно и вполне мог бы сойти за человека не вполне адекватного. Возможно, так оно было на самом деле, ведь в первое время после возвращения оттуда я вздрагивал от новогодних хлопушек, тогда как в горах, когда долбила артиллерия, если это было далеко от нас, я спокойно засыпал под эту канонаду, к такому на войне привыкаешь... А в мирной жизни любой похожий звук – ненормальный истораживает...

Однако самым странным на гражданке для меня было то, что люди улыбаются. Думаешь: чему они радуются? Наверное, это происходит потому, что ты сам несешь в себе столько горя внутри, ты наполнен им под завязку, и ничего другого не помещается в тебя больше. Ты многого не понимаешь здесь, пока не приживешься... И пока твои воспоминания не оставят тебя в покое. Призраки прошлого...

Из моего батальона, выходявшего из окружения, больше половины было убито и ранено... Это я тогда и получил свою пулю... Но был даже рад, как ни странно, не из трусости, нет, моя радость была оттого, что я остался жив, несмотря на сильную боль, когда нас с Костей везли чинить в Питер. Моя война закончилась и та часть жизни, в которой я присутствовал скорее как статист, потому что от меня там ничего не зависело. Приказ, выполнение приказа... И Бог в помощь...

Мне казалось, что я прибыл на Землю с другой планеты только в тот момент, когда самолет совершил посадку. Я наконец был просто человеком, а не тем странным существом – приложением к автомату, потому что без меня он стрелять не мог. Теперь мне можно было думать о чем угодно, а не только о том, как выжить. Можно было представлять и мечтать, как я буду жить дальше и что стану делать после того, как выйду из госпиталя.

Именно в то время мне и пришла мысль, что всё происходившее там было не со мной, потому что я был тогда другим, а это равносильно тому, что меня не было, а кто-то другой,

похожий только внешне на меня, находился на передовой, замирал в засаде и стрелял, стрелял, стрелял... Врачи назвали бы подобное состояние «замещением», это когда психика, чтобы пережить сильный стресс, пытается загнать его поглубже в неизведанное темное подсознание. Но не важно, каким словом назвать, главное то, что ты при этом чувствуешь. А чувствовал я впереди новую жизнь. Я, заштопанный в госпитале, спасенный врачами и Господом Богом, как новенький, готов был войти в эту манящую, слегка приоткрытую дверь, хотя временами меня накрывал уже ставший привычкой страх, как будто где-то рядом разорвался снаряд, меня накрывало взрывной волной памяти, и картины одна страшнее другой проносились передо мной, взрывая мозг: вот рассыпающийся на глазах высотный дом, сложившийся в один момент, словно он был сделанный из картона, и женский крик, одинаковый на всех языках, и чужая речь – незнакомые слова, даже не чеченские. Кто все эти люди? Зачем они здесь? И зачем здесь я? Земля плыла под ногами, от нее шел пар, или это она так дышала... Она была живая, я точно это знал, когда чувствовал ее через грубую ткань армейской рубахи: она была живая, значит и я еще живой, если способен чувствовать... Да, пока ты способен чувствовать – ты живой. Это же так понятно, так просто. Я запомнил. И запах крови, перемешанный с запахом земли, тоже запомнил. Я старался остановить в себе этот поток из прошлого: хватал сигарету и начинал судорожно курить, как будто задыхался без нее, вдыхал этот едкий дым до глубины легких, до глубины сознания своего. Потом это проходило, и я опять становился похожим на молодого парня, такого же, как другие парни моего возраста. Но оказалось, что не так это просто – перепрыгнуть из одного мира в другой, чтобы тебя не задело. А задевало многое: здесь были какие-то правила игры, о которых я не знал. Что-то произошло здесь без меня, пока я там воевал, защищал, выживал. Меня как будто не ждали. А куда я мог пойти со своим багажом стрелка? Или в бандиты, или в охранники. Но мне было противно даже думать о стрельбе, о борьбе, о мордобоях и других прелестях подобного разлива. Я уже напился всего этого, упился, чуть ли не до смерти. Мне хотелось бы поступить в институт, однако для этого нужно было подготовиться как следует, где-нибудь снять жилье, так как я не был местным, и элементарно чем-то питаться. Все это вместе означало – деньги. Мама с папой жили в Новгороде. Можно было, конечно, вернуться к ним, но слухи оттуда доходили о том, что работы там не найти, если не считать того, что я для себя исключал: вариант человека с ружьем. Помыкавшись так некоторое время, я сел на хвост Костику, потому что он-то был местным и у него имелась квартира, правда родительская, в которой жили его родители и он сам. На время они согласились приютить меня. В одной комнате с Костей мы строили планы на будущее. Ему было проще и понятнее – он собирался поступать в Политех. Я же искал работу, чтобы как-то выживать в этом городе: красивом, но неродном. Перебывался то в одном, то в другом месте. Пробовал что-то мутить в интернете, только там таких сообразительных было много, а пользы мало. А все работодатели брали меня на время и, когда время истекало, выгоняли; видимо, они не хотели оформлять на постоянную работу из каких-то своих интересов, а может, потому, что у меня не было прописки, – я не вникал особо... Просто уходил и шел дальше, надеясь на то, что когда-нибудь мне повезет.

В один из мутных питерских вечеров, болтаясь по Невскому, я зашел в это самое кафе, сел на это самое место и, пошарив в карманах, нашел необходимую сумму, чтобы заказать себе чашку кофе. Народу в кафе было почему-то много. Что им всем сразу приспичило выпить кофе? Тогда я еще не знал, что в центре так всегда, особенно в выходной день и в таких приметных местах на Невском. Теперь я уже не помню – может, это и был выходной день, еще бы число знать... Но не знаю. Был обычный день, какие проходили перед моими глазами, как скорые поезда... Я привык пропускать их взглядом и не считать вагоны: все равно бы не успел... У меня была мысль, и я ее думал: куда пойду завтра искать работу.

Неожиданно к моему столику подошла женщина, уже с чашкой кофе в руке, что удивило, но не расстроило меня, так как женщина была красивой. И еще что-то необыкновенное было в ней, что определить вот так с ходу невозможно. Она спросила:

– Разрешите мне за вашим столиком выпить кофе?

– Еще бы, – брякнул я.

И она улыбнулась, от чего лицо ее стало озорным, словно у девчонки, хотя было видно, что она не моя ровесница и даже совсем нет... Вообще, я путался в определении возраста женщин. Ну, где-то от тридцати до сорока, решил я для себя, разглядывая ее. Она молча пила кофе и не смотрела на меня совсем. Потом встала и пошла к выходу. А я как сомнамбула пошел за ней, будто привязанный на поводке щенок, не думая, зачем и куда я иду. Мне было всё равно. Я просто чувствовал, что не могу оторваться от нее, не могу потерять эту женщину из вида, из жизни. Никогда я так и не смог понять, почему пошел за ней. Я не приставал с разговором, просто шел – и всё. Начал накрапывать дождь, она достала из сумочки зонт и раскрыла его над собой, тем самым определяя дистанцию между нами, потому что я неукоснительно приближался к ней и это получалось само собой, но, когда она остановилась на секунду и ее зонт вдруг распустился, я чуть не налетел на нее. Мне показалось, что женщина этого даже не заметила, как будто я был бестелесным духом невидимым. Потом мы вошли в темную подворотню с привычным для таких мест запахом цветущих стен, то есть плесени, сырости и кошачьего духа, не в смысле духов, конечно... Пройдя в глубину двора, я заметил, что дальше всё было уже гораздо краше, как это и бывает в Питере. Дверь парадного имела парадный вид. Так вот почему здесь говорят парадное, а не подъезд, – промелькнуло в голове и на этом замкнуло меня, потому что она вдруг обернулась (значит, я существовал в реальности, а не блуждал в каких-то мирах за этой нереальной женщиной). И как будто старому знакомому, она сказала мне:

– Ну вот я и дома. Спасибо, что проводили, а то страшновато вечером одной идти...

Я смотрел на нее и молчал, как полный идиот, опомнившись только в тот момент, когда за ней захлопнулась дверь. Перед глазами был кодовый замок, но я не знал волшебного слова, чтобы его открыть, да и где – в какой квартире искать ее. Я не знал ничего, даже имени незнакомки. Однако почему она не испугалась того, что я плелся за ней неотступно от самого кафе, – а вдруг я вор или насильник? Кто поймет этих женщин... Утешало только одно: мне был известен дом и подъезд, остальное – дело техники и фантазии. С фантазией у меня было всё в порядке: я уже видел ее в своих объятиях, даже не останавливая разыгравшееся буйство подобных картин, рисуемых моим воображением. Было так приятно думать о ней весь вечер, а потом и ночью, лежа в комнате Костика. Я улыбался в темноте, как Чеширский кот: я весь был одной улыбкой. Непонятно, по какой причине, я чувствовал себя в тот момент счастливым. Завораживающее влияние этой женщины на меня носило какой-то мистический характер, словно меня опоили приворотным зельем вместо кофе. Ох, уж этот мне подозрительный официант, улыбающийся странной улыбкой, – конечно, он сговорился с ней... Это был уже мой бред, переходящий в сон. Но я тогда на самом деле не понимал, что со мной случилось. И уже годы спустя после расставания с ней я точно знал, что подобного в моей жизни не было и, думаю, никогда не будет.

Сейчас в этом кафе, увидев Анну, я понял окончательно: эта женщина имела такую власть надо мной, что, позови она меня, я бы снова пошел за ней, как в первый день нашей встречи. Я вижу себя с такой ясностью, как будто смотрю свою жизнь, записанную на пленку, на большом экране. Думаю, что эта пленка существует на самом деле – эта запись в моем мозгу или в моих клетках, в моих нервных окончаниях, в тайниках моего подсознания, не знаю где, но обязательно существует.

Вот я стою у той самой двери парадного, за которой исчезла она, стою в ожидании того, что незнакомка выйдет из нее или подойдет к ней с улицы, возвращаясь к себе домой. Прошло

несколько дней после этой странной встречи, но отчаянное желание ее увидеть попирало всякую разумность: у меня была только одна цель – один смысл существования – одна навязчивая идея – увидеть ее. И я дождался того, что однажды вечером она появилась в сияющем проеме подворотни – в арке, казавшейся освещенной в тот момент ее присутствием – ее светом. Наверное, я схожу с ума, – промелькнуло у меня в голове в тот момент, но это уже не имело никакого значения, потому что она подошла ко мне, узнала меня и сказала, улыбаясь:

– Между прочим, я замужем и моему супругу вряд ли понравится видеть такую стражу у двери подъезда, если он посмотрит в окно и заметит нас вместе.

– Но как я еще мог увидеть вас? – спросил я, опустив голову, как провинившийся школьник.

– И чего же вы хотите от меня услышать? Я ведь вам уже всё сказала.

– Я хочу видеть вас – хотя бы иногда.

– И всё?

В ее вопросе мне послышалась, нет, не насмешка, а будто ироничный вызов. Что я мог ответить ей? Я боялся сказать что-нибудь не так, боялся обидеть ее, разочаровать. Больше всего мне не хотелось, чтобы она прогнала меня, запретив преследовать ее. Я молча смотрел и ждал, непонятно чего. И вдруг она спросила меня:

– Вы, наверное, приехали из другого города?

– Да, я приехал сюда...

И дальше инстинктивно почувствовал, что не надо ей говорить, откуда я приехал – из какого страшного мира в этот чудесный город, в котором увидел ее. Она отошла от двери и пошла вдоль дома. Я последовал за ней. Молча мы вышли на улицу и оказались на тротуаре, мимо которого проносились машины, а мы шли, не замечая ни прохожих, идущих навстречу, ни проезжающих машин. Мы шли через этот город, как будто сквозь него. Дойдя до перехода, она остановилась и спросила меня, почему я иду за ней.

– Не знаю, – ответил я. – Просто мне хочется идти за вами. Мне хорошо, когда вы рядом.

– Скажите мне: вы были там?

Вопрос был настолько неожиданным, что я вдруг остановился. Я мгновенно понял, что она имеет в виду, но ответил не сразу:

– Да, был... Вышел из госпиталя и теперь пытаюсь жить здесь. Пока не очень получается...

– Я понимаю. Если вам нужна моя помощь...

– Нет, нет, – поспешил сказать я. – Мне ничего не нужно.

– Зря вы так...

– Нет... Не подумайте, я уже всё решил: если не получится, поеду к родителям в Новгород.

Мне почему-то было легко с ней, как будто я давно знаю ее и могу рассказать о себе всё, что захочу. Может, это происходило оттого, что она была старше меня или в ней самой было что-то такое особенное: открытость, простота, искренность или женская мягкость, выраженная в ее голосе, что вызывало на откровенность. Я не знал, но слушал этот ласкающий голос. А она продолжала говорить:

– Просто я сдаю квартиру, которая осталась от мамы. Сейчас там никто не живет, пока был ремонт. Правда, еще не убрано до конца, но для вас ведь это не так важно, мне кажется...

Я засмеялся. Она удивленно посмотрела на меня:

– Что-то не так?

– Да нет, я вспомнил как говорила моя бабушка: «Дяденька, дяденька, дайте мне покушать, а то переночевать негде».

Она улыбнулась:

– Понимаю, у вас много проблем. В большом городе человеку всегда одиноко.

– Как говорил один философ: человеческая душа вообще одинока здесь на Земле и от этого страдает...

– Ну, у нас с вами, к сожалению или к счастью, нет другой планеты, кроме этой, поэтому нужно постараться жить и по возможности не страдать... Я поэтому и предложила вам помощь. Может быть, вы еще не нашли работу?

– Почему же? У меня есть работа, временная пока, но я не думаю, что могу сейчас позволить себе снимать квартиру. Я живу у друга, вернее, у его родителей, в общем – вместе с ними. Всё нормально.

Дальше разговор как-то остановился, повис в воздухе, как воздушный шар. И мне, и ей стало будто неловко. Каждый думал, что он может быть неправильно понят другим. Потом она сказала, что ей уже пора домой, но добавила, что, если я надумаю что-то, ее предложение остается в силе. И потом сказала каким-то упавшим голосом:

– Знаете, у моей знакомой, в общем, я работаю с ней, – так вот, у этой женщины сын погиб там, откуда вы приехали. Я сразу это поняла, когда вас увидела.

– А что – это так заметно? – удивился я.

– Мне заметно. Не знаю, как другим...

Мы попрощались и пошли каждый в свою сторону.

Целую неделю я жил, как ежик в тумане, из которого не мог выбраться и брел куда-то, не зная, что меня там ожидает. Я подавлял в себе порыв бежать к ней. Меня останавливала только одна мысль, возникшая после разговора с Анной: она сочувствует мне. Да, я теперь знал ее имя, мог произносить его шепотом и громко во весь голос. Но сам себе говорил: «Дурак ты, Антоша, она просто пожалела тебя, как приبلудного песика или котенка. Добрая женщина... А ты вообразил себе, что можешь вызвать в ней какой-то интерес, кроме сострадания...» Я злился на свою тупость и самоуверенность, ведь если на меня западали девчонки, это совсем не значит, что я неотразим для такой женщины, как Анна.

Я еще сам не понимал, что именно заставило меня пойти за ней в тот вечер. Незнакомка. Тайна. Судьба. Карма. Но это точно не было похоже на то, что ощущал я при встрече с симпатичной девушкой, в которой привлекало меня что-то конкретное: то попка, то грудь, то ножки, когда я шел сзади, а если видел сразу лицо, то – глаза. Какие глаза бывают у женщин: глубокие и таинственные, как будто бездонные: упасть и утонуть... Но обычно я просто, по природе самца, оглядывал их поверхностно и, присвистнув вослед, шел дальше, но бывало, что и приставал: знакомился, выпрашивал телефончик, иногда и не звонил даже, потому что встречалась другая. Не могу сказать, что я прямо утопал в любовных утехх. Казанова, блин. Нет, у меня не было на это времени. Всё оставалось чаще на уровне желаний... Но по какой-то дурной привычке, инстинкту, хрен знает чего (вот он точно знает), по инерции, скорее всего, я продолжал рассматривать проходящих мимо девчонок.

К Анне я не мог относиться так же, меня охватывала какая-то несвойственная мне робость, и я впадал в молчаливый ступор при виде ее. А после того, как решил больше не видеться с ней, понимая, что реальность немного отличается от моих фантазий, меня стала одолевать непреодолимая тоска о том, что мир устроен именно так, а не иначе. И что эта женщина – не для меня. И все-таки: то ли возникшая злость на свою несостоятельность и убогость, то ли что-то другое заставило меня поднять свой зад с дивана, к которому я прилип на несколько дней, присосавшись к бутылке (у меня ведь случилось горе, а как же...). Но в какой-то момент я вдруг явственно представил себе другую картину и вспомнил, что горе – это когда с тобой рядом падает парень, с которым десять минут назад ты курил вон за тем развалившимся домом, и мы даже смеялись с ним, не помню над чем. И вот теперь его нет. То есть нет совсем – нигде и никогда больше. Эта мысль протрезвила мое сознание, уплывшее и заплывшее жалостью к самому себе. Меня встряхнуло так, что собрало все мои силы, мою энергию, сконцентрировало всего, как на передовой. И по странной случайности через два дня

я нашел работу в одном учреждении, где нужен был компьютерщик, а я же был еще тот хакер, если без скромности... Не зря же хотел поступать в Политех. Эта мысль иногда еще приходила ко мне, но, постояв немного, уходила или я задвигал ее в дальний угол. Главное – теперь я мог наконец свалить из квартиры Костика, чтобы его родители вздохнули свободно и больше не мучились чувством вины по отношению к другу их сына, сослуживцу к тому же... Они хорошие люди, и хватит уже этим пользоваться. Теперь у меня должно было всё наладиться.

Конечно, я хотел найти повод увидеть Анну, переболев своими терзаниями и сомнениями... И несмотря на все мои логические раскладки по поводу бесполезности усилий в этом направлении и прочих комплексов, я все равно надеялся, что мне повезет. Может быть, потому, что теперь уже не чувствовал себя таким никчемным. А может быть, я просто наглый тип и только прикрываюсь девичьей стыдливостью? Как бы там ни было, желание видеть ее перебило прежние философские наработки, приводящие встречу с ней к нулю. А мне не нравится эта цифра – эта дырка от бублика, я предпочитаю цифру 8, потому что если ее положить на бок, то получается знак бесконечности, именно так она изображается в умных книжках. Честно говоря, я давно не читал умных книг, как-то не до того было в последние годы моей еще юной жизни. Поэтому мои мысли находились в несколько размытом состоянии, будто по стеклу прошелся дождь: всё виделось таким образом – через него, сквозь него...

Но я давно уже вышел из того мира, в котором был провинциальный мальчик, окончивший школу и заваливший вступительные экзамены в институт. После чего отец еще больше стал наседать на меня, чтобы я поступал в медицинский. Он сам был хирургом, и дед мой был хирургом, поэтому мне предстоял династический брак с этой профессией, но я всячески изворачивался, чтобы в него не вступать.

– Тогда ты отправишься в армию, – сказал мне отец. – А вот если поступишь в медицинский, то там есть военная кафедра.

Да, родители очень не хотели, чтобы я шел в армию, зная, какой творится в стране бардак, и понимая, что там может оказаться и того хуже. Я тоже не хотел этого, воспринимая такой вариант как лишение меня свободы, к которой я так привык, к тому же, я воспринимал это как потерю двух лет моей юной жизни. Никакие другие чувства, вроде долга, патриотизма, тогда не рассматривались мной и не потому, что я был такой несознательной сволочью, а просто всё, что я наблюдал вокруг, с этими чувствами никак не вязалось.

Проболтавшись как-то год человеком без определенных занятий, я все-таки поступил в мед. Дело в том, что институт этот был практически рядом с моим домом, а я любил подольше поспать, поэтому решил, что это очень удобно: не нужно было трястись рано утром в автобусе, чтобы потом еще одну пару досыпать в аудитории. Я стал ходить на лекции примерно, а потом примерно ходить... И всё это продолжалось бы дальше, но анатомический театр был не тем местом, которое мне нравилось посещать. Не понимаю, почему это называется театром. Отец уверял меня в необходимости отличного знания анатомии, чтобы, когда я стану делать операции самостоятельно, у меня не было бы своего кладбища... Так говорится, что у каждого хирурга есть свое собственное кладбище: у кого-то маленькое, у кого-то большое. Такой вот черный юмор у медиков. Шутки, подобные этой, не прибавляли во мне оптимизма, а только давили на мою неокрепшую психику. Мне казалось, что резать трупы может стать для меня естественным и привычным делом во благо профессии и тогда может случиться так, что смерть пациентов не будет слишком угнетать, то есть угнетать настолько, чтобы мешать работе, но при этом я перестану ценить их жизнь. Я поделился этим открытием с отцом. Но он сказал, что спасенные пациенты возместят неудачи. Блин, оказывается, смерть человека на операционном столе – это врачебная неудача, так это называется. Может быть, со временем я бы как-то свыкся с этой мыслью и уделял бы больше времени учебе, чтобы избежать в будущем таких неудач, но... Я понимал, что врачи – не боги и они не могут спасти всех, однако брать на себя такую ответственность мне совсем не хотелось. Конечно, можно было стать просто врачом, выбрать

нечто не столь рискованное, например терапию, или быть окулистом, или еще кем-то, но после первого курса я решил, что с меня достаточно.

Чего же хотел я? Вот-вот, и отец спрашивал об этом же:

– Чего ты сам хочешь? У тебя, наверное, есть какая-нибудь мечта?

Конечно, у меня была мечта: заработать много денег и купить байк. Но не думаю, что папа понял бы, о чем речь, скажи я ему такое. Он же был советским человеком, и для него мечта – это что-то большое и нематериальное. Я тогда не понимал многого, только какие-то проблески мысли о более высоких материях посещали мой разум и то не часто. Правда, я любил читать фантастику, а фильм «Солярис» посмотрел несколько раз и после каждого просмотра удивлялся, каким можно увидеть этот мир, если ты освободишь свое сознание от штампов и от порочного самомнения, что ты уже достаточно знаешь, по крайней мере, знаешь необходимое, то, что может пригодиться тебе в жизни. Может, и по этой причине мне временами становилось скучно от того, что все уже как будто бы predetermined. Именно тогда ко мне пришла идея с треугольником. Вначале совсем робко, а потом меня затянуло в него. Я получал настоящий кайф, думая об этом в тишине своей комнаты. Но мой экзистенциальный приход был нарушен и обрублен на корню. Меня призвали в армию. Произошло то, о чем пророчил мой отец некоторое время тому назад, и его пророчества дошли-таки до военкомата, потерявшего меня временно из своего поля зрения.

До этого момента мне казалось, что жизнь идет слишком медленно, поэтому я и медицину бросил, потому что было влом учиться шесть лет, а потом еще сколько, пока тебе доверят совершать что-нибудь полезное самостоятельно. Мне же хотелось делать что-то такое, чтобы сразу был виден результат, как в спорте. Я тогда занимался биатлоном, и там всё понятно: выполнил как надо – выложился до предела – победил. Самой крутой для меня была индивидуальная гонка (не спринт, не пасьют, а 20 километров пёхом на лыжах в мороз). Что такое этот самый биатлон? Лыжные гонки со стрельбой из винтовки, как будто ничего особенного, но меня заводило. Я чувствовал себя крутым парнем, когда проносился по снежной трассе, отрываясь от соперников. Несмотря на то что только в 1994 году этот вид спорта вошел в программу Олимпийских игр, на самом деле всё это началось гораздо раньше у северных народов, которые зимой охотились на лыжах, и об этом говорят наскальные изображения в Норвегии, появившиеся еще пять тысяч лет назад. Ну, и наши северные жители еще с древних времен таким образом добывали зверя.

Почему я запал именно на биатлон? Мне всегда нравилось обгонять, я потом на байке гонял так же, чтобы чувствовать ветер. Ну а в биатлоне заодно стрелять научился... Из мелкокалиберной пневматической винтовки 22-го калибра, с обоймой на пять патронов, которая весила больше трех с половиной килограммов. Когда зимой в мороз бежишь на лыжах, руки мерзнут, а ты вручную перезаряжаешь, еще то удовольствие... А всё равно тянуло что-то, – может быть, этот черный круг – мишень, он был вписан в другой, который побольше. При стрельбе стоя, засчитывались попадания в любую зону кружка, а если стреляешь лежа, то нужно попасть точно в черный круг диаметром в 45 миллиметров. Он мне ночами снился, как черный зрачок, то сужающийся то расширяющийся. Это когда набегаешься на лыжах, что ноги сводит, ну и мозги заодно, наверное...

Вначале бежишь, бежишь, бежишь, а потом стреляешь по мишеням, и на каждом огневом рубеже у тебя есть пять выстрелов, но если промажешь, то накручиваешь штрафные круги или штрафное время тебе впают. А если пробежишь лучшее время на дистанции, тогда – победитель. Ура! И всё честно и четко: сам сделал.

Но та жизнь неотвратимо уходила на задний план сцены: декорации менялись, и новые мне совсем не нравились. Я на войне первое время всё по правилам делал, как учили в спорте, по инерции, потому что врезалось в память, что винтовка может касаться только плеч, рук и щеки, а ладонь, которая придерживает винтовку, должна быть всегда поднята над поверхно-

стью. Командир, когда это увидел, обалдел: «Это что за балет такой? – спросил. – Если будешь много думать, можешь не успеть первым выстрелить, ты же здесь не за очки, а за жизнь свою борьбу ведешь». Вразумил меня, короче.

Сначала я попал в учебку, и там, прознав, что я учился на врача, дали мне кликуху или, как говорили они шутя, позывной – «Хирург». И он так прикипел ко мне, что перекочевал по неведомым мне каналам дальше – туда, куда я загремел после; не знаю, за какие такие данные мне так «свезло», но спрашивать об этом было не положено. Вся моя жизнь теперь вмещалась в одно емкое слово «служба». Так я попал на войну, перешел на другой уровень, как в компьютерной игре. Правда, такое сравнение очень быстро отпало из башки. Игры закончились... И храбриться, изображать из себя крутого пацана с первым разрядом и с кубком, стоявшим дома на книжном шкафу, не пришлось нисколько. Здесь всем до задницы были мои кубки и медали, туда же пошли и мои философские наработки о треугольнике как всеобъемлющей конструкции...

Всё было просто до животной примитивности: ты – живое тело, составляющее часть других живых тел, являющихся одним целым, ведь когда одно тело выбывало, его заменяли другим. Такая вот конструкция. Мне она казалась неправильной, но мое мнение никого не интересовало. Я понял, как уязвим человек, как он мал на самом деле перед этим чудовищем – железным драконом, изрыгающим огонь, надвигающимся на тебя на своих скрипучих, скрежещущих, гремящих лапах, под которыми дрожала земля и ты сам вместе с ней дрожал, но не показывал вида. Главное – не поворачиваться к нему спиной: со спины не заметишь того, кто стреляет.

Потом ты научишься ощущать врага и спиной тоже, у тебя появятся крылья, чтобы преодолевать одним махом большие расстояния. А еще ты научишься становиться невидимым, прижимаясь к углу стены дома, за которой тебя ждут и ты это чувствуешь, непонятно каким местом, и не двигаешься, чтобы не обнаружить себя, и кажется, что даже не дышишь в этот момент. Ты научишься различать запахи по ветру. И поймешь, что у войны свой особый запах. Тебе очень пригодится твое животное прошлое, твои дикие инстинкты, подаренные природой и забытые тобой за ненужностью в той жизни, где ты был человеком современного вида. Но не только тело будет спасать тебя здесь, но и дух, о котором ты вообще ничего не знал раньше. Для тебя это была некая абстракция, слово, изображающее нечто неопределенное на материальном уровне. А здесь – это твое спасение, оно то, что держит тебя, как будто ангел опускает свою ладонь на твою голову в том месте, где небольшое углубление, а в нем точка, через которую ты слышишь, что тебе делать сейчас. Интуиция? Бог? Разум, открывающийся в самый опасный момент полностью, а не на какие-то там проценты, которых оказывалось вполне достаточно в той жизни, где тебе было лень спуститься за сигаретами в киоск и ты выходил на площадку, где сосед Лёха курил у окна и можно было стрельнуть у него сигарету и перебраться несколькими словами о том, как всё стало хреново. Жизнь – боль.

Да что ты знал о боли? Вчера от разорвавшегося рядом снаряда Кольку оглушило и он, контуженный, встал зачем-то и пошел вперед. Я ору ему:

– Куда? Куда ты? Ложись!

А он идет дальше, ни черта не слышит, что я там ору ему. Идет, как сомнамбула... Потом вижу – не идет: упал и не двигается больше. Финиш. Пришел уже... Первым. Да, он был первым, кого я потерял на той войне, едва успев сдружиться с ним. Первым, который на моих глазах...

Сейчас, сидя в кафе этого красивого города, мне кажется, что всё это было так давно со мной. Жизнь на месте не стоит. И там в Грозном тоже всё уже по-другому, а я всё продолжаю говорить о своем... Значит, это во мне жизнь на месте стоит, прошлое сжалось, как ком в горле – стоит, не уходит. Гоню его – всё равно стоит, не двигается, глазами Кольки контуженого

смотрит на меня, обезумевшими глазами, ближе подойдешь, посмотришь, а глаз нет – пустые глазницы...

У меня друг остался жить в Грозном. Лет семь назад позвал меня на свадьбу. Женился он на чеченке. Я ездил к нему. Как инопланетянин какой-то ходил там и мест тех не узнавал. Может, не было ничего? Приснилось. Привиделось... Друг с невестой веселые, смеются. Она танцует: руки, как крылья, пальцы изгибаются – красиво, будто плывет, земли не касаясь, парит над нею. А я лежал, прижавшись к этой земле – наполовину живой, наполовину мертвый, когда-то...

Спрашиваю у друга:

– А ты смог забыть, что здесь было? Простить смог?

– Ну, знаешь, мы тоже здесь с тобой не чай пили с тортом. Они же поняли, что враги мы плохие, а друзья – хорошие.

– Да уж, врагами лучше нас не иметь, в этом ты прав. А если любим кого, так без краёв.

– Ну, вот видишь? Понимаешь, о чем я.

– Жалко, что они сразу этого не поняли, пацаны бы наши живы остались. На свадьбе твоей погуляли бы... А скажи мне, братан, как же родители разрешили твоей девушке за русского замуж выйти? У них ведь традиции, религия и всё такое...

– В их семье история такая случилась, еще во время войны... В дом попали, загорелся он мгновенно. А мать во дворе белье вешала, и в самом доме никого не было в то время, кроме маленького пацана, который спал... Ну, она, конечно, пыталась в дверь забежать, но там уже был огонь... Женщина бегала по двору и кричала страшно. Какой-то наш боец услышал и побежал туда, разбил окно и влез в комнату. Ребенка на руках стал выносить, вернее, из окна его матери отдал сразу, потом уже сам стал вылезать. Обгорел в общем... В больнице что-то пытались сделать, но степень ожога была несовместима с жизнью. Так эти люди отыскивали священника. Здесь ведь больше половины русских жило до войны, и церковь, конечно, имелась. Православный священник всё сделал, как положено, и похоронили его по-христианскому обычаю. Семья эта называет его «наш брат Игор», и до сих пор ходят на его могилу, цветы носят... Видимо, это сыграло роль, что меня приняли, несмотря на то что я русский...

Конечно, я всё понимаю теперь и не хочу никого обидеть своим недоверием. Ненависти во мне нет, а горечь осталась. Вкус войны... Ведь это моя жизнь, и всё, что в ней было, – мое. С этим и живу... Вспоминать, правда, стал меньше и как-то эмоции стираются со временем. Наверное, это правильно, нельзя в себе столько боли носить, а то для радости места не будет.

Раньше я думал: «Уже 42 года», а теперь говорю: «еще 42 года». Вроде цифра одна и та же, но какой разный смысл...

А когда только вернулся на гражданку, будто надорвалось во мне что-то. Хотелось оставить всё там, где оно осталось, но мысли возвращали меня туда, я даже разговаривал сам с собой, хорошо хоть не вслух. «И что же – стер всё напрочь? – спрашивал у себя. – А какой ты новый?» Потом мне начинало казаться, что я меняюсь. Я чувствовал, как с меня как будто слезает кожа, как у змеи, образно, конечно... Никто этого не замечал, только я один знал об этом. Рассказал как-то Костику, а он пошутил: «А чешется под рубашкой кожа старая?» После этого больше никому не рассказывал. Разве объяснишь, что с тобой происходит на самом деле? Я еще не понимал тогда, хорошо это или плохо. Просто по-другому – и всё. «Посмотрим, что будет дальше», – как любил повторять наш комбат в самый не подходящий для этого момент, когда и так всё казалось очевидным и страшным. Еще одной его любимой поговоркой была эта: «Жизнь – опасная штука: от нее умирают». Однажды новичок спросил его, после слов «посмотрим, что будет дальше» – не опасно ли это? И он сказал ему:

– Ты у «Хирурга» спроси, он точно знает, – имея в виду меня.

И продолжил:

– Он почему здесь, как думаешь? Потому что не захотел нормальных людей резать, жалко ему их было, так его сюда определили, чтоб не жалко, здесь ведь жалко бывает только у пчелки в попке.

Дразнили они меня «Хирургом», ну, чисто дети в школе. У самого комбата тоже «звание» было – «Боцман», хотя никакого отношения к морю он не имел. Просто кому-то под водку открылся: сказал, что в детстве хотел моряком стать, вот и разнеслось. Здесь это быстро, как пуля летит. Так и остался он «Боцманом». Навсегда остался, потому что убили его...

Но сейчас судьба не предвещала ничего плохого. Даже напротив. Я пробил клювом яйцо и вышел из скорлупы, отряхнувшись. Такое чувство у меня было только в тот момент, когда я понял, что меня не убило. Мне хотелось тогда орать: «Я живой!» – хотя для всех это было и так очевидно. Осмотревший меня айболит сказал: «Повезло тебе, пацан». Я поверил ему и потерял сознание – от потери крови, как объяснили потом.

Сегодня я чувствовал себя счастливым. В метро рядом со мной сидел мужчина лет пятидесяти, без всякой растительности на голове. Он читал книгу и шурился, – наверное, у него было плохое зрение – близорукость, у меня друг по школе так делал, когда хотел прочитать буквы на предметах в магазине. Но, может быть, мужчина так улыбался – одними глазами. Мне стало интересно, и я спросил:

– А про что книга?

– Все книги про любовь, только «Майн кампф» про ненависть, – сказал он и уже улыбнулся полностью весь, но я заметил, что улыбается он больше одной стороной рта, такая вот особенность. Но мужик приятный. Я подумал, что он прав и если пойти дальше, то и вся жизнь – это про любовь: к маме, к папе, к городу своему, к земле, по которой ходишь, к женщине, без которой тебе плохо. На этом месте я остановился и, сказав почему-то мужчине: «Спасибо», выскочил на первой станции. В любом случае это был центр города. Впрочем, для меня это не имело значения. Я отыскал в рюкзаке визитку Анны с ее телефоном. Как хорошо, что не потерял ее по свойственной мне безалаберности. Так хотелось скорее позвонить ей и спросить, сдает ли она еще квартиру, о которой говорила мне, – правда, прошло уже две недели с тех пор и вполне возможно, что в ней живет кто-нибудь другой. И вполне возможно, что Анна забыла уже обо мне... Но я все равно набрал номер телефона:

– Я слушаю вас, – раздалось в трубке.

– Здравствуйте, Анна. Это Антон. Помните? Мы говорили с вами по поводу квартиры. Ну, о том, что вы могли бы ее сдать мне...

– А, да, я помню, Антон. Вы так внезапно исчезли, я подумала, что уже определились с жильем.

– Так, значит, она уже занята?

– Нет. Если вам подойдет... Дело в том, что она не в центре. На Гражданке...

– Мне вполне подходит, – ответил я.

Мы договорились встретиться в шесть вечера у метро «Академическая», чтобы она отвела меня туда. Я ликовал, но не из-за квартиры. Главное – увидеть ее. Я нашел повод это сделать, не околавываясь под окнами на виду у ее мужа и соседей.

Конечно, я примчался на полчаса раньше: меня раздражало нетерпение поскорее встретиться с ней, мне казалось, что я не видел ее вечность. Выписывая метры туда и обратно, я пытался как-то успокоиться до ее прихода, чтобы не выглядеть таким взъерошенным. Я знал, что женщинам свойственно опаздывать. Но что могло остановить меня, кроме движущегося навстречу мне танка? Я и сам был похож в тот момент на танк, прущий напролом.

Как ни странно, Анна пришла вовремя. И, первым заметив ее, я побежал к ней навстречу. Она шла спокойно, придерживая одной рукой шляпу, потому что в тот день был сильный ветер. Я заметил, что в Питере ветер – обычное дело, впрочем, такое же, как дождь. С этим нужно просто смириться и жить дальше. Ведь все эти явления вписаны в город, как Зимний дворец

или шпиль Адмиралтейства, или Нева, – без них картина не была бы полной. Да и как без этого можно чувствовать себя петербуржцем? Как тогда быть меланхолии, депрессии и прочим милым свойствам психически изощренной личности? Я бы мог подольше размышлять об этом, но у меня перед глазами была женщина, к которой я шел, бежал, летел, взлетев уже на бегу и опустившись прямо рядом с ней. Она сказала, что дом находится недалеко от метро и до него вполне можно дойти пешком. Да если бы даже и далеко, за ней я бы мог идти куда угодно.

Действительно это было совсем рядом. Дом находился в глубине двора, но он не представлял из себя каменный мешок, каких множество в старом Петербурге. Они напоминают колодец, в который не падает свет. Но этот район вырос где-то в шестидесятые годы и, постепенно застраиваясь, уже не напоминал новостройку или окраину, а был вполне себе приятным местом для проживания. «Летом здесь, наверное, вообще классно, когда деревья покрываются листвой и трава под ногами, цветы у дома, – подумал я, приближаясь к подъезду. – Просто райское место, куда привела меня фея». У феи был чудесный шарф цвета морской волны и лицо Анны.

Мы поднялись на третий этаж и вошли в квартиру. Там на самом деле еще пахло ремонтом, но особого беспорядка я не заметил, разве что мягкая мебель была закрыта простынями, бумагой, полиэтиленовой пленкой, которую Анна тут же начала снимать, извиняясь при этом:

– Я ведь не знала, что вы вообще позвоните; если бы раньше, то я убрала бы всё.

Мне вообще казалось странным, что она извиняется передо мной. Она, богиня, извиняется. Абсурд. Я стал помогать ей сдирать простыни, потом собрал всю бумагу и другой мусор, оставшийся от ремонта, и отправился выносить его из квартиры. А когда вернулся обратно, из кухни уже пахло кофе, и Анна позвала меня к столу. Оказалось, что по пути сюда она купила пирожные и теперь мы могли посидеть вместе, вкушая сладости, пить кофе и разговаривать. О чем еще я мог мечтать? Но в тот день нам не удалось подольше побыть вместе. Анна торопилась домой. Так я узнал, что ее ждет сын Сережа, которому в то время исполнилось десять лет. Было видно, как теплели ее глаза, когда она рассказывала о нем, добавляя с гордостью, что, несмотря на свой возраст, он очень привязан к ней, хотя мальчики другие не такие домашние, как ее сын, и предпочитают общение с друзьями...

– А к своему отцу он так же относится, как к вам? – спросил я, чтобы что-то спросить и выглядеть вежливым, потому что на самом деле меня мало интересовал Сережа.

– К Алексею? Он, конечно, любит его, но муж более строг, чем я. А может, еще имеет значение большая разница в возрасте, ведь Алексей старше меня на пятнадцать лет и у него немного другое отношение к воспитанию.

И вдруг она смутилась тому, что почему-то рассказывает незнакомому человеку такие подробности своей жизни:

– Простите, Антон, вам, наверное, это всё неинтересно и не нужно, а я заболтала вас уже. В общем, живите здесь, разбирайтесь что и как, а если уточнить что-то нужно будет – звоните мне на мобильный или домашний. Нет, на домашний не надо, – сказала она быстро, и в ее голосе послышалось волнение.

Потом она надела плащ и ушла очень спешно. Это выглядело несколько неожиданно: спокойно сидели, пили кофе, разговаривали – и вдруг такая внезапность... «Куда же ты бежишь? От кого ты убегаешь, Анна?» – подумал я тогда, потому что чувствовал, что ей приятно общаться со мной. Несмотря на то что она была женщиной достаточно взрослой, скрывать свои эмоции ей удавалось очень плохо, а так как я был лицом весьма заинтересованным, наблюдательность моя еще более обострилась тогда. Я ловил каждое движение, каждый взгляд, брошенный на меня. Иногда мне казалось, что она недовольна собой, вернее, своей откровенностью, открытостью, что ли. Ей хотелось бы, наверное, большей отстраненности, но стена никак не выстраивалась, она была из детских кубиков и все время рушилась в тот момент, когда я подольше не отводил свой взгляд, смотря ей в глаза. У меня есть такая дурацкая привычка –

смотреть людям прямо в глаза, не моргая, когда меня что-то очень интересует или то, о чем человек рассказывает, для меня важно или сам человек приятен, как в случае с Анной. Мне уже говорили, что это раздражает, но я считал, что только животные не любят, когда им смотрят прямо в глаза, особенно хищникам это не нравится, но о людях я был более высокого мнения. Что же касается Анны, то она притягивала меня к себе, возможно даже не осознавая этого сама, но я-то чувствовал этот плохо скрываемый зов и с готовностью отвечал на него, проникая в нее своим взглядом.

После того как Анна ушла, я вспомнил, что не спросил у нее об оплате своего проживания в этой квартире и какого именно числа мне нужно вносить деньги, но я решил, что это будет еще одним поводом позвонить ей, и мне это даже понравилось. В общем, жизнь удалась, – говорил я себе, прохаживаясь по квартире, где еще пахло ее духами. Но почему она не захотела, чтобы я звонил на домашний телефон? Ведь ее муж наверняка в курсе, что эта квартира сдается, и не был бы удивлен, если бы позвонил съемщик квартиры и спросил его о чем-нибудь... Но долго думать над этим вопросом я не стал, в конце концов, какое мне дело, что за отношения между ними и какие тайны они друг от друга скрывают. Если ей так удобно, пусть так и будет...

Это сейчас, сидя в кафе, я, взрослый мужчина, старше по возрасту тогдашней Анны, думаю о том, что мне всё было понятно с первого дня нашей встречи, что я каким-то шестым чувством знал – она будет моей женщиной. На самом деле это неправда: никакого опыта в таких делах у меня тогда не было, а тем более в общении с умной женщиной, намного опытней, как предполагалось. Правда, арифметика меня в тот момент мало интересовала, я не заморачивался подсчетами лет: сложением и вычитанием. Даже когда узнал, что ей скоро сорок и методом нехитрых исчислений получил разницу в пятнадцать лет, это нисколько не смутило меня.

Удивительно то, что по прошествии стольких лет я помнил всё так, словно это произошло вчера. И мне кажется, что сейчас я смотрю на прошлое более романтично, чувственно, то есть на всё это смотрит уже другой человек, с более развитой душевной организацией, тот, кем я стал за эти годы. Наверное, в юности игра гормонов сильнее игры ума, а тем более душевности, хотя отрицать наличие всего этого было бы странно. Но я часто ловлю себя на мысли, что и войну я тогда иначе видел: вернулся живым – значит нужно жить на полную катушку. Так мне тогда было понятней. А сейчас я стал сентиментальней, хотя говорят, что мужчины становятся с годами циничней, а у меня получается неправильное развитие – обратный рост... Недавно смотрел передачу по телевизору, где известная журналистка рассказывала, как в юности она делала репортажи из Чечни, когда шла война. И один эпизод просто вывернул меня наизнанку, как будто моя зажившая рана стала снова кровоточить. Она говорила, что как журналистку ее должны были встретить и охранять, но что-то не сложилось и за ней не приехали. И она с одним майором решили прорываться к нашим. Он, естественно, был за рулем. Дорога разбита в хлам. Дело к ночи. Вокруг разрушенные дома, пустынная и безлюдная местность, и неизвестно, что там впереди, поэтому едут наудачу. Вдруг она замечает, что майор крестится, и эта журналистка, девятнадцатилетняя девчонка, спрашивает у него: «Это вы что делаете сейчас? И что делать мне, если начнут стрелять?» А он ей отвечает: «Не бойся. Я обещаю тебе, что, если сейчас откуда-то появятся боевики, я сразу застрелю тебя, потому что в плен к ним тебе нельзя». И я, взрослый мужик, разрыдался, как сопляк. Вырвали из меня эти слова что-то глубоко спрятанное – еще с юности, с войны той, замурованное во мне, задавленное тяжелой плитой, камнями, похожими на те, что завалили наш БТР, из которого мы не могли выбраться три дня, пока нас не отыскали свои. Для меня вдруг в один момент стало понятно, что война – это всего два слова: «жизнь» и «смерть», – и для этой девчонки, которую майор обещал застрелить, смерть в тот момент была бы единственным выходом. Война очень часто – дорога в один конец. Я сам видел, что сделали эти шакалы с нашей медсестрой Ниной, которую они

выкрали. Ладно бы взяли в рабство. Звучит дико, но тогда работорговля для них была делом обычным и обыденным, как и наркаторговля. Такое время было, средневековье. Но с Ниной они поступили по-зверски. Поэтому я и разрыдался, услышав рассказ журналистки. Вспомнил Нину. Мы дружили с ней, ну, как дружили – несколько раз переспали, называли это любовью, другого там и не было, конечно, любовью. И пусть она так и думает там – на небесах.

Всё теперь видится еще страшнее, потому что тогда думать не успевали, многие не успели совсем и навсегда. И тому, кто хоть однажды ходил в атаку или сидел в засаде в группе наблюдателей или в штурмовой группе, это понятно с одного слова. Иногда сдавали нервы, и казалось, что ты сходишь с ума от напряжения, от неизвестности, которая страшнее всего. А таких моментов было предостаточно, особенно когда попадал в группу разведки.

Штурмовые группы находились в глубине района, где происходила операция, а группа наблюдения – это что-то вроде разведки, шла первой. Ей нужно было найти место и залечь в засаде. Засады такие носили разный характер: была так называемая «засада-приманка», когда мы производили какие-нибудь боевые действия, чтобы привлечь внимание террористов на себя, а мины были на подходе к нам или в другом месте, куда ваххабиты попадали с нашей помощью. Я сам был в такой группе наблюдения. В нашу задачу входило загнать их, как зверей, то есть направить туда, где находилась основная, настоящая засада. И от того, насколько точно ты это выполнишь, зависела реально твоя жизнь, ведь у нас не было таких сил, чтобы вступать с ними в полноценный бой, потому что главные силы сконцентрировались в другом месте и для встречи с боевиками были готовы, в том числе и минирование производили с таким расчетом, чтобы они на него попали, когда станут продвигаться в сторону, где их уже будут ждать наши бойцы. Когда поучаствовал в таком «спектакле», забыть этого ты уже не сможешь.

Хорошо, что в молодости есть столько отвлекающих моментов, а то бы свихнулся на фиг. Для меня глотком жизни стала Анна. Я пил и не мог напиться, как однажды из найденного нами случайно родника. До сих пор помню, какой был вкус у той воды и какой прозрачной она была.

Анна провела своей нежной рукой по моей голове и сняла мою боль – мой страшный сон – мою искореженную память, оглушенную артиллерийской канонадой и обожженную огнем, несущимся вослед за мной оттуда, где меня больше нет.

Кем была для меня эта женщина? Она вошла в мою жизнь и стала ею так же естественно, как естественно человеку дышать, думать о чем-то, радоваться и огорчаться. Нет, это не были идеальные отношения, но они были неизбежными, предопределенными как будто, хотя к мистике я отношусь с осторожностью, ведь тогда можно было бы всё списать на волю судьбы, исключив свою собственную волю и свою ответственность. Я не могу разделить на части мое чувство к ней, выделить что-то одно, главное. Даже то, что я не понимал в ней, и то, что раздражало меня, – всё равно было ею, принадлежало ее образу, который я, конечно, дорисовывал своими красками, как говорится: художник так видит. В каком-то смысле влюбленный человек является тем самым художником: он способен по-своему смотреть и разглядеть даже то, чему сам человек не придает значения или хотел бы скрыть от других. Я любил ее. Я люблю ее до сих пор, если этому чувству придать истинный смысл и не путать с похожими ощущениями, которые гораздо чаще посещают людей, переплетая друг с другом по жизни, но к любви это не имеет никакого отношения. Наверное, в глубине души я остался тем же пацаном, который делил всё на черное и белое, а может быть, мне просто хотелось быть честным перед собой. Так всегда было.

Я посмотрел на столик, за которым сидела Анна, и мысленно поблагодарил ее за то, что она еще не ушла. Конечно, мы оба изменились за то время, которое прошло после нашего расставания. Но Анна сохранила в себе ту спокойную уверенность без всякого намека на превосходство, на желание выделиться, доказать свою силу. Да она и не была сильной в том смысле, который вкладывают в это деловые и эмансипированные женщины. Ее сила была в другом, я

не знаю таких слов, это слишком женское и колдовское: необыкновенная, невозможная, невыносимая, это всё о ней... Может быть, некоторые видели некую высокомерность в ее всегда прямой спине, стройной шее, словно она пыталась тянуться вверх, отчего подбородок ее был всегда немного приподнят, и даже когда она расстраивалась, то запрокидывала голову назад и, закрыв глаза, оставалась в этом положении какое-то время, – казалось, что она подставляет лицо небу, солнцу или хочет, чтобы на нее падал его свет и всё темное и печальное освещал собой и стирал таким образом с лица...

Ее движения и теперь всё так же были изящны, в них не чувствовалось никакой резкости, нервной торопливости, какую я встречал у других женщин после, невольно сравнивая их с Анной. И это было моим наказанием, мукой, неизбывным разочарованием и печалью об утраченном совершенстве и мечтой о нем. Ускользящая красота. Так назывался один из моих любимых итальянских фильмов, который я смотрел несколько раз, потому что слова эти так подходили к Анне, они выражали то, что было заложено в ней и что мы называли любовью. Но это слово слишком обобщает всё, оно похоже больше на пароль, который известен двоим. Я не часто говорил его Анне, мне казалось, что мы и без него узнали бы друг друга даже с завязанными глазами, даже на расстоянии и в темноте.

С годами я понял, что случайных встреч не бывает и только позже мы это сознаём с опозданием, когда уже безнадежно опоздали. Но благодаря этим встречам мы становимся теми, кем стали. Я благодарен этой женщине, от которой меня отделяют три столика в кафе и пятнадцать лет в жизни. И дело не в том, что я погружаюсь в прошлое, живу прошлым, а нужно жить настоящим, нет, я только сейчас смог связать воедино все свои разорванные жизни, собрать самого себя в одно целое, потому что раньше, как я уже говорил, моя жизнь была разбита на некие фрагменты и эти части прожиты были вроде мной, а вроде просто похожим на меня человеком. Я считал правильным, захлопнув за собой дверь, идти вперед и дальше, не оборачиваясь. Это было проще.

Так случилось после войны. Наверное, в то время это стало чем-то сродни самозащиты: желание поскорее забыть произошедшее со мной, отстраниться от него. Добровольная амнезия. А потом уже вошло в привычку. Но не сработало. Только в молодости это еще как-то удавалось, а со временем перестало получаться.

До меня не сразу доходила некоторая информация, а может, я слишком был занят самим собой, не замечая важных вещей. Только через два года после случившегося я узнал, что генерал Лев Рохлин был застрелен ночью 3 июля 1998 года на своей даче. Официальная версия гласила, что это был семейный конфликт и что стреляла его жена Тамара. Но человек, который был знаком с генералом, рассказал мне, что сам Рохлин говорил ему: «Я знаю – уже заготовлен сценарий моего физического устранения, которое будет замаскировано под бытовую версию». Именно так и случилось. И никого не смущал тот факт, что убит он был в постели на втором этаже, а в кухне на первом этаже на высоте двух метров от пола был найден след от пули. Как такое может быть? А вот так и может... Сама же обвиняемая была избита. И хотя следов ее пальцев на пистолете не обнаружили, это не помешало оставить женщину в следственном изоляторе на четыре года, а потом так же неожиданно выпустить оттуда. Позже стали просачиваться всевозможные детали этого убийства – например, то, что настоящие убийцы были в масках и что они угрожали убить сына в том случае, если жена генерала не возьмет на себя вину за убийство своего мужа. И эта информация словно отбросила меня в то время, которое я так хотел забыть. У меня было такое чувство, что я снова сижу в заваленном камнями БТР и молчу, потому что говорить нельзя. И сейчас нельзя? А когда будет можно? Я тогда вылезу из него и заору во всё горло: «Я свободен!» – и эхом отзовется в горах мой голос.

На счастье, в то время возникла Анна, как спасение от отчаяния и окончательного разочарования в людях, которым я верил. Деление на черное и белое – естественное свойство молодого нетерпеливого ума. Анна была исключительно на светлой стороне мира. И меня тянуло к

этому свету – к этой женщине, которая несла его в себе. Был ли я тогда таким уж романтиком, каким теперь изображаю себя, смотря как бы издалека на всё? Мне кажется, был, но не в чистом виде. Во мне бурлили разные ингредиенты чувств, и этот химический процесс порой протекал стихийно, по щелчку, по возникшей внезапно эмоции, от первой случившейся в голове мысли, показавшейся в тот момент самой правильной. Я с упорством молодого барашка говорил себе, что всё будет хорошо и так, как надо. Я был уверен, что Анна тоже думает обо мне. Хотя откуда такая самоуверенность? Какие основания? Я не задумывался тогда над этим...

У меня был повод позвонить ей, и я позвонил. Она сказала, что через месяц приедет за деньгами и если не застанет меня дома, то просто возьмет полагающуюся сумму, которую я должен оставить на столе, и что ключ от квартиры у нее есть. «И это всё?» – удивился я, мягко говоря, но ей, конечно, ничего подобного не сказал. Меня как будто обдали ледяной водой. В ее голосе не чувствовалось даже намек на теплоту и нежность, которую я сам себе вообразил после нашей встречи. Нет. Со мной по телефону говорила деловая женщина, у которой я вчера снял квартиру. «А чего ты ждал? Что она прибежит и кинется к тебе на шею? А может быть, ты решил, что она сдала квартиру, чтобы приходить в это любовное гнездышко для утех с тобой?» – спрашивал я себя, кривя губы в улыбке и строя гримасы у витрины магазина, в стекле которой отражалась моя глупая рожа. Лучше закурить, – решил я, но был сильный ветер, поэтому даже это не получилось с первого раза: сигарета всё время гасла. Ничего не получается у меня, – продолжал я дальше погружать себя в туманную муть – предвестницу беспросветной тоски. Да, со мной такое случалось, то ли от слабости духа, то ли от утонченности оного, по мне это одно и то же, просто второе название несет в себе надежду на выравнивание моего настроения в процессе жизни. Идти в свое новообретенное жилище мне совсем не хотелось, и я пошел навстречу ветру, который продувал мою голову, мои мысли. Когда-то я читал стихотворение французского поэта Рембо, нет, не крутого Рембо, а с ударением на последний слог (это для особо одаренных, я от них не так уж далек). Так вот, там меня задел именно этот образ с головой, продуваемой ветром, или с мыслями, обдуваемыми ветром, в общем как-то так. Я болтался по городу до самой ночи, как будто мне идти было некуда. Питер располагает к бродяжничеству, склоняет к нему. В нем легко потеряться и не найтись. Особенно, если белые ночи, когда вроде всё видно, а человек тут тебе был, а тут – растворился в загустевшем тумане. Не человек вовсе, а тень одна. Здесь в воздухе разлито одиночество: хочешь – пей его, хочешь – беги, только не стой на месте в нерешительности, иначе кто-то решит за тебя. И ты окажешься в чьей-то квартире, проснувшись утром с больной головой, с трудом узнавая нового друга, который и привел тебя сюда, и напоил какой-то дрянью, и читал тебе Рембо, но ты же сам сказал про эту гребаную строчку ему еще там на мосту, а после этого завязался разговор и так далее. В другом случае могла еще оказаться и подруга у него или две подруги или вообще много народа какого-то незнакомого, но здесь это не важно. Я начинал уже привыкать к этому городу, но не мог еще до конца понять, почему люди каким-то образом узнают друг в друге своего. Как они это чувствуют, по степени одиночества или это особый дар, который еще нужно постичь?

Конечно, я не мог вытерпеть целый месяц, чтобы не видеть Анну. И уже через неделю поплелся в ее двор, спрятавшись за угол стены. Я периодически высовывался из своего укрытия, чтобы не прозевать момента, когда она будет возвращаться к себе домой с работы. И вдруг увидел, как Анна идет вместе с каким-то мужчиной, и, судя по тому, что он выглядел старше ее, я подумал, что это и есть ее муж, о котором она мне говорила. Он нес в руке пластиковый пакет, довольно тяжелый, и о чем-то живо рассказывал. Анна смеялась. Лучше бы я этого не видел. Лучше бы я не сидел в засаде, разведчик хренов!

Но через десять дней я пошел туда снова, однако уже не подходил к дому, а просто делал вид, что прогуливаюсь туда-сюда мимо подворотни, ведущей во двор. Не хватало только трости, чтобы выглядеть петербургским денди пушкинских времен. Анна заметила меня и подо-

шла сама в тот момент, когда я не мог видеть ее, так как шел в обратную сторону, а она появилась сзади и как ни в чем не бывало спросила:

– Гуляете, Антон?

Я обалдел от неожиданности:

– Да, вот решил погулять. Я работаю здесь неподалеку...

– Ну да, я так и подумала, – сказала она и улыбнулась. – А я сегодня раньше ушла с работы. Какая неожиданная встреча! Раз уж так вышло, – продолжала иронизировать она, – тогда расскажите мне, как ваши дела. Устраивает ли вас квартира? Может, есть какие-то вопросы?

«Господи, о чем она говорит? Для чего она говорит это всё? – думал я. – Не то, всё не то...» И вдруг во мне возникла удачная, как мне показалось, мысль:

– Я приглашаю вас в кафе. Надо же как-то отметить мое новоселье, а то вы так резко пропали, что мне не удалось это сделать раньше.

Как ни странно, она согласилась, и мы пошли рядом. Я что-то болтал о своей работе, а она говорила, что мне нужно летом обязательно поступать в институт, потому что я прирожденный технарь. И еще за что-то хвалила меня. Это было не важно: мне нравилось просто слушать ее голос. Иногда он застревал где-то между проезжающими по дороге машинами, потом взлетал снова, и я ловил его продолжение и хотел, чтобы он никогда не останавливался.

Этот вечер я отметил для себя одним словом: «счастье». И стал ждать второго числа, когда Анна должна была прийти за оплатой. Я бы и сам мог привезти ей деньги, но боялся, что она ухватится за это предложение и вообще не появится в этой квартире.

В тот долгожданный день я забил на работу, сказавшись больным. Ну не мог я пропустить такого момента! Почему-то я был уверен, что она придет именно днем, специально, чтобы не застать меня дома. Но я оказался хитрее. Коварный соблазнитель, ёпт. Мне было смешно от того, что я такой необыкновенный стратег, ведь она избегает встречаться со мной наедине, это медицинский факт, как говорит мой отец, врач по профессии. А чего она боится? Я стоял на балконе и курил, оглядывая свой уже тронутый весной двор. Внизу пробивалась трава трехдневной щетиной, а на деревьях всюду набухшие почки норовили вот-вот раскрыть нарождающиеся в них листья – еще совсем хрупкие и нежные, еще не знающие, как выглядит этот мир. Что-то назревало вокруг, некое ожидание чуда, несмотря на то что оно случается каждую весну. Но от этого не становилось менее желанным.

Страсть к Анне вызревала во мне, как вино в бочке, приобретая со временем свой устойчивый вкус, но еще с молодой игристостью, ощущаемой легким покалыванием воздушных пузырьков, что кружат голову и опьяняют, но совсем ненадолго. Это был вкус жизни. Для меня он приобретал конкретный аромат ее духов, который уже запал глубоко во мне. И даже ослепнув, я бы нашел свою Анну по легкому дуновению его. Я не мог вспомнить, чтобы когда-либо такое происходило со мной: казалось, всё во мне обострено до крайности: прикоснись она, и я бы стал вырабатывать электрический ток. Меня самого рассмешило подобное сравнение. И, улыбаясь птицам, я стал насвистывать свою песню жаворонка, ищущего себе подругу. Мне было так легко, что эта легкость передалась моему телу, которое как будто стало легче, и, по-моему, я мог взлететь, если бы в открытую дверь балкона не услышал звонка и не пошел открывать.

Увидев меня, Анна очень удивилась. Значит, я был прав, предполагая, что она не хотела встретить меня здесь, не хотела оказаться со мной один на один в квартире.

– А почему ты не на работе? – (К тому времени мы уже перешли с ней на «ты».)

– Заболел, – ответил я, улыбаясь во всю рожу.

– Заболел? Так, может, тебе нужно принести лекарства? Сходить в аптеку? Я сейчас, – заторопилась она.

Я подошел к ней совсем близко и взял ее ладони в свои похолодевшие от волнения руки:

– Ничего не надо, Аня, – вдруг сказал я, назвав ее так впервые. – Аня, я болен другой болезнью, и ты наверняка догадываешься об этом.

– Нет, нет, я не понимаю...

Она опять пыталась убежать от разговора, а если бы я не держал всё еще ее руки, то убежала бы из квартиры и вниз по лестнице, не дожидаясь лифта.

Я увидел испуг в ее глазах.

– Прошу тебя, – произнесла она почти шепотом, то ли ей перехватило горло, то ли она боялась, что кто-то услышит ее. – Прошу тебя, не надо этого ничего говорить. Ты же понимаешь, что это невозможно.

– Невозможно что? – спросил я, глядя ей прямо в глаза и не давая ее взгляду ускользнуть в сторону.

Я понимал, что нельзя замолчать сейчас, нельзя дать ей опомниться и выскочить из сложившейся ситуации.

– Почему ты не хочешь разрешить себе быть собой? Позволить себе хоть немного счастья. Ты же понимаешь, что мы нужны друг другу. Я еще не знаю, зачем, для чего мы встретились, но это произошло...

Я прижал ее ближе к себе. Она не сопротивлялась, словно мой голос заморозил ее и отнял все силы. Я слегка прикоснулся губами к ее щеке, к виску и почувствовал, как там быстро-быстро бьется венка. Потом поцеловал ее волосы. У нее были чудесные волосы хмельного коньячного цвета, спадающие к плечам, а когда она запрокидывала голову назад, то они становились еще длиннее и сбегали по спине, в самом конце превращаясь в волну. Я поцеловал открывшуюся полностью шею, так же осторожно касаясь ее губами. Это было настолько невинно, как будто пробежал легкий ветерок. Но для меня этого хватило, чтобы я завелся по-настоящему. Она уткнулась лицом в мое плечо и повторила несколько раз для такого тупого меня:

– Я не могу так... Ты должен понять.

Она сопротивлялась не мне, а себе, и я понимал это, а не то, о чем она пыталась говорить, желая остановить меня, что было уже невозможно. Но я продолжал осторожничать с ней, боясь что-то сделать не так: поспешно или грубо. Не хотел, чтобы она поняла мою настойчивость неправильно, и я бы из-за этого мог потерять ее. Конечно, тогда я не размышлял об этом, но просто чувствовал ее, как будто был настроен на одну волну с ней.

– Я понимаю тебя, – сказал я, хотя мне стоило большого труда затормозить мое желание, оборвать на взлете свой стремительный полет. – Я буду ждать тебя здесь или в любом месте, где скажешь... Я буду тебя ждать, потому что мне без тебя плохо, я не знаю, как мне без тебя быть...

И отпустил ее, как отпускают домашних голубей, зная, что они вернутся назад. Она отошла к двери и сказала мне, словно извиняясь за что-то, а в ее голосе эта фраза была похожа на вопрос:

– Я пойду...

Она забыла даже, зачем приходила, но я напомнил ей. Просто пошел в комнату и принес оттуда деньги, лежавшие на столе, и молча положил в ее сумочку. А чтобы как-то развеять нависшее над нами облако неопределенности и неловкости, сказал:

– Давай как-нибудь покатаемся на катере по Неве. Я еще никогда не катался по Неве.

– Хорошо, – ответила она и чуть-чуть улыбнулась: на мгновение промелькнула улыбка на ее губах и спряталась.

– Я позвоню?

– Конечно звони, – сказала Анна.

А когда за ней захлопнулась дверь, я упал на диван и пролежал так, не двигаясь, наверное, час или больше. Как будто из меня ушли все силы и жизнь на какое-то время покинула меня, хотя я всё еще дышал, но птиц за окном я больше не слышал.

Три месяца Анна не появлялась в квартире. Она звонила мне и назначала встречу где-нибудь в центре города. Если бы я сам не проявлял инициативу, то мы бы виделись второго числа каждого месяца и не чаще того. С ее стороны не наблюдалось никакого стремления к общению, и я уже начал думать, что мне всё это показалось, привиделось, придумалось в моей голове, но у меня всё уже сложилось в какой-то нереальный мир, в котором я продолжал существовать, потому что выйти из него никак не мог, да и не хотел вовсе выходить. Я ждал ее.

Как-то рассматривая корешки книг в шкафу (а там была собрана неплохая библиотека), я наткнулся на имя Анна – дальше, понятно, следовало Каренина. Я вытащил книгу из-под стекла и, пролистав немного, обнаружил, что, когда читал ее раньше, даже не предполагал, что имена героев романа могут стать когда-нибудь настолько значимыми для меня. Героиню звали Анной, ее мужа Алексеем, а сына Сережей. Фатальное совпадение.

При встрече с Аней я рассказал ей об этом и спросил, как фамилия ее мужа. Она сказала, что в ней одна буква не совпадает:

– Он – Карелин.

Я расхохотался как идиот, – впрочем, она тоже засмеялась. Вот с тех пор я называл ее мужа только «Карениным». Правда, о нем она предпочитала не говорить, а если и говорила, то как-то вскользь. Больше о сыне Сереже, как будто она жила только вдвоем с ним. Но в голове у меня все время возникало желание спросить:

– Ну как там поживает «Каренин»?

Я понимал, что это было бы издевательской фамильярностью с моей стороны, а скорее – желанием отыграться на нем за свое незавидное положение в этом сложившемся треугольнике. Ведь кем я был для Анны? Да никем, съемщиком квартиры, милым мальчиком, привязавшимся к ней, которого она не могла резко отшить сразу. Я думаю, не хотела обидеть, потому что мое боевое прошлое вызывало в ней сочувствие. Хотя, на самом деле, я не знал, что двигало ею, когда она соглашалась на встречу со мной.

Мы даже покатались на катере, о чем я мечтал еще весной в тот самый день, когда произошла та невинная нежность с моей стороны, похожая на приступ любви, как потом считал я, полагая, что она давно об этом забыла и проявляет теперь исключительно дружеское участие по отношению ко мне, что для меня иногда было невыносимой пыткой. «Я становлюсь мазохистом», – проносилось в моей голове. Да, но она все-таки приходила на свидания. Разве ей нечем было заняться, кроме того, как шататься со мной по городу или кататься на катере по Неве? В общем, я совсем запутался.

Время шло, плелось, тянулось, как в детстве жевательная резинка, когда ее держишь во рту и тянешь, чтобы посмотреть, насколько длинной она будет до того, пока разорвется.

Чтобы не впасть в депрессию, я готовился к экзаменам в институт. И даже поступил, как ни странно, ведь особой надежды на это у меня не было. Поступил на вечернее отделение, потому что продолжал работать, в отличие от моего друга Кости, который на год раньше меня начал учиться в Политехе и под крылом родителей мог себе позволить заниматься на дневном. Я не жалею, просто констатирую факт.

Времени у меня оставалось не так много для личной жизни, которой, впрочем, и не было, не считая те нечастые прогулки с Аней. А перед сном я читал «Анну Каренину» и заодно повторял французский язык, который когда-то учил в школе, а теперь он мне понадобится еще в институте. Чтобы читать Толстого, нужно хоть немного знать этот язык, а не то придется всё время смотреть вниз страницы, где маленькими буквами на половину листа дан перевод текста. Ох уж эти аристократы: нет чтобы по-русски говорить и научиться наконец писать без ошибок... Что за страсть такая – искать где-то чужое, уверив самих себя, что там всё лучше, чем

здесь. По-моему, эта болезнь неизлечима и по сей день, меняется только направление поиска для подражания. Но есть еще люди, есть, которым на это начхать, вот я, например. Да, мне хотелось бы, чтобы в стране стало лучше, но чтобы эта страна называлась Россией, той самой – с тысячелетней историей, в которой было и великое, и ужасное, но всё равно наше и нам нести это то в виде креста – за грехи, то в виде знамени – за победы. И во мне сходятся все пути, потому как я ни от чего не отрекаюсь, являясь частью, пусть и совсем маленькой, частью истории. В любом случае я поступаю вполне осознанно, потому что меня никто не заставляет и не гонит палкой идти по этому пути, а если бы я хотел свалить отсюда, давно бы свалил. Не хочу... А то вопят некоторые, подначивая несознательный контингент, бежать куда глаза глядят, но сами, заметьте, не валят. Что-то в этом не так, и я даже знаю что, просто мараться не хочется... Как-нибудь в другой раз.

Да, я уже тогда, в юности, так думал. Может быть, не мог ясно изложить свои мысли в словах. А вообще, я не люблю спорить с людьми, которые меня не понимают, лениво мне этим заниматься, потому как – бесполезно... Приходит время, когда ты просто чувствуешь: твой это человек или нет, мало ли людей по свету бродит, что ж мне теперь отлавливать их и перевербовывать на свою сторону. Пусть будут... Только я не подпущу их к себе, к сердцу своему не подпущу, как это случалось не раз в моей жизни, когда люди представляли предомной в другом обличье.

Я в то время еще не воевал, когда в 1995 году Шамиль Басаев захватил роддом. Меня это взорвало изнутри, потому что я не представлял себе, как человек может быть способен на такое зверство. Он ставил в проемы окон беременных женщин и стрелял им в низ живота. И как после этого поворачивался язык у наших «поборников за справедливость» называть этого зверя повстанцем, борцом за свободу? Называть убийцу героем?

Эта война уже тогда провела некий водораздел между мной и некоторыми людьми, которых я больше не мог воспринимать в прежнем качестве. Особенно выбивало устойчивость изпод ног, когда те, кто когда-то был для меня чуть ли не лицом эпохи, совершали вдруг такие поступки, которые я не мог оправдать. Ведь и слова – это тоже поступки, потому что они иногда бьют больнее и хоть не убивают тебя физически, как пуля, но ты чувствуешь, как в твоей душе поселяется чувство неприятия, чувство брезгливости, отчего возникает желание вымыть руки. Жаль, не смыть того разочарования, которое навсегда закрывает твою душу от подобных людей. Так случилось у меня с одним известным поэтом после того, как я услышал его интервью, где он называл Шамиля Робин Гудом и предрекал, что когда-нибудь ему поставят памятник. Я не верил своим ушам, я отказывался понимать, что это говорит человек, сказавший за свою жизнь столько прекрасных слов, которые повторяли по меньшей мере два поколения людей, выросших на его песнях. Романтик. Гуманист. Почти пророк. Всё рухнуло моментально. Существуют же в этом мире какие-то очевидные, непоколебимые понятия добра и зла? Бог – это Бог. А дьявол – это дьявол. Какие сомнения? Варианты? Размазывания дерьма по тарелке, выдавая его за соус ткемали... Он же был грузином, и его не остановило даже то, что эти шамилевские «герои» ворвались на его малую родину, убивали там мирных людей и играли в футбол головами его соплеменников? Конечно, по христианской традиции следовало бы сказать этому литератору: «Бог ему судья», но, наверное, я неправильный христианин, недостаточно всепрощающий, но есть такое, чего я на самом деле не могу простить, а прикидываться и делать вид, что способен это понять, я не умею и не хочу. Конечно, мир проживет и без моих сентенций и эмоций, но меня огорчает, что всё повторяется с тупой последовательностью, как будто человек рождается для того только, чтобы погибнуть на какой-нибудь очередной войне. Да, этому поэту поставили три памятника в Москве. Но я все-таки надеюсь, что тому, которого он называл Робин Гудом, никогда не поставят памятник, как предрекал писатель, иначе Россия перестанет существовать... И так мы порядком запутались тогда, а ведь что-то во многом и по сей день осталось: для кого-то это были «лихие», а для кого-то «святые» девяностые.

Эта война тянулась за мной гремучей змеей, как будто норовила наброситься и ужалить меня в самое сердце, впустив свой яд в кровь. Даже здесь – в мирном Петербурге – я все равно знал, что она есть... И там еще оставались ребята, с которыми у меня, к сожалению, не было никакой связи.

Но сейчас, сидя в этом кафе, я понимаю, что в молодости ты больше по наитию приходишь к каким-то вещам, догадываешься о чем-то таком случайно, как будто... А становясь старше, даешь этому название, осмысливаешь, понимаешь. Ты не придумываешь ничего нового, всё в тебе уже есть, но в каком-то зачаточном состоянии. Например, я точно помню, что еще в детстве, раздумывая о чем-то или просто от нечего делать, на любом листе или обрывке листа, попавшем под руку, я всегда рисовал треугольник. Кто-то, чиркая по бумаге, изображает кружочки, ежиков, цветочки, завитушки какие-нибудь, всё что угодно, не задумываясь, механически... Но у меня почему-то выходил треугольник. Знал бы я тогда, что две тысячи лет назад в Древней Греции жил человек, который первым изобразил знак треугольника вместо слова «треугольник». Имя его – Герон. А самое первое упоминание этой геометрической фигуры находят в египетских папирусах и этим письменам четыре тысячи лет. Но я был слишком мал для таких знаний, мне просто нравилось рисовать треугольник, вот и всё.

Теперь мне кажется, что я придумал объяснение своему интересу к данной фигуре. И случилось это, когда я познакомился с Анной. А может быть, я осознал гораздо позже, но связал с ней? Как бы там ни было, всё складывалось уже в некую систему.

Для меня это был русский треугольник. Есть бермудский, а есть русский. Так я чувствую. В моих раздумьях мне виделся разносторонний треугольник, в котором каждая грань имеет свой смысл, свою идею, символ, знак, назовите как угодно, суть при этом не изменится. Одна сторона – это я, то есть мое эго, моя личность, мое ощущение себя в этом мире и то, как я воспринимаю окружающее пространство, как реагирую на происходящее в нем, а также – все мои комплексы, заморочки: они тоже въезжают сюда паровозиком. Вторая сторона – это внешний мир, та самая окружающая среда, в которой обитают люди и звери, но в основном я имею дело с людьми, поэтому исключительно о них и об их отношении к моей персоне. Если одна сторона – это мое отражение, или лучше сказать, отражение мира через меня, мое восприятие его, а сюда много чего попадает: любовь, ненависть, обида, сострадание, короче, весь набор, потому как человек не может существовать в полной изоляции, через него всё это проносится, как метеоритный дождь... Что-то или кто-то обязательно задевает, и я это чувствую и отвечаю, как умею, по причине того, что жив еще курилка... Здесь всё очевидно. А вторая сторона треугольника – это то, как другие реагируют на меня. Тоже своеобразное зеркало, в котором отражаюсь я, но уже через призму чужого восприятия: их глаза – это зеркало. И наконец третья сторона – основание. Его можно определить по-разному: совесть, долг, воспитание, ментальность, национальный код, генетика, память рода и так далее, но в любом случае это что-то большее, чем я сам и даже если взять меня вместе с другими. Основание, конечно, связано с двумя сторонами треугольника, вершиной которого является Бог или Вселенная (кто как понимает). Эта вершина и есть та точка, в которой всё сходится: она одновременно начало и конец, потому что всё в этом мире когда-то начинается и когда-то заканчивается. Но мне кажется, что импульс исходит из одной и той же точки, если представить мир в виде треугольника. Между прочим, это самая устойчивая геометрическая фигура и к тому же самая жесткая, потому что не подвержена деформациям. Вся конструкция Эйфелевой башни сплетена из треугольников, поэтому ей не страшны никакие колебания во время бурь. «Я думаю, что никогда до настоящего времени мы не жили в такой геометрический период. Всё вокруг – геометрия», – говорил французский архитектор Ле Корбюзье.

«Всё вокруг – треугольник», – сказал бы я. Меня потрясло, что он абсолютно не изменяющаяся фигура, в треугольнике ничего нельзя сдвинуть или раздвинуть какие-нибудь две стороны. И об этом давно было известно не только ученым, но и архитекторам, строителям.

Фронтоны древнегреческих храмов имеют треугольную форму; впрочем, этому есть еще одно объяснение, потому что треугольник, направленный вершиной вверх, символизирует стремление материи к духу, а греки знали в этом толк. Но еще такой треугольник – это символ огненной стихии, а огонь, как известно, находится на юге. И это прекрасно: лето, свет, тепло... Не то что осенью, особенно в Питере, а ему как раз ближе другой треугольник, который обращен вершиной вниз и в нем заключена стихия воды, Луны, интуиции и других чувств и тонких материй, блуждающих в головах обитателей этого невыразимого до конца города, хотя попытки его выразить были и продолжаются до сих пор. Это уже западная сторона, и это – осень. Ну да: тихая дождливая осень... Время проходит, но некоторые вещи изменить нельзя, и треугольник – одна из таких вещей.

Время распространяется с такой скоростью, что оно мгновенно существует везде – в любом месте Вселенной. И вполне может быть, что где-нибудь оно сходится, как сходятся параллельные линии. Тогда получается, что настоящее, прошлое и будущее существует одновременно. То есть время представляет из себя мгновение протяженностью в Вечность? Или, как сказал Карлейль: «Жизнь – это очень короткое время между двумя вечностями».

Не имеет значения, к чему именно, где и когда ты применяешь образ этой конструкции. Для меня первое осознание самого себя, воплощенного в форме треугольника, возникло на войне. Тогда же и проявилось несоответствие сторон друг с другом, борьба между ними, когда я уже не мог даже помыслить о какой-либо гармонии равностороннего треугольника. Нет, о таких отвлеченных и заоблачных вещах я там не думал, но ответить себе: кто я на самом деле, конкретно, по ситуации, по жизни – мне пришлось. Так что конструкция эта работает везде...

Я, как человек совсем молодой, желающий жить, любить, состояться в этой жизни во всех качествах личности, вдруг осознал в тот момент, что возникло нечто совсем чуждое для меня. И на чаше весов богини правосудия, у которой, как водится, завязаны глаза, моя драгоценная жизнь и воинский долг оказались подобно двум полюсам. Но я каким-то внутренним чутьем понимал, что сейчас нельзя думать об этом, нужно забыть, как будто ничего этого нет вообще. Не думать. Принять то, что существует: только приказ и движение вперед. И всё это происходит с оглядкой на других, которые бегут в бой, а ведь им тоже хочется жить, как мне, они для этого и родились на свет. Спрятаться, закосить, отсидеться ты не можешь. Но почему? Что движет тобой в этот момент? Страх наказания? Но разве возможная смерть в бою не наказание? Это же полное исчезновение тебя, а любое живое существо пытается избежать этого, инстинктивно, просто по своей природе... Я не знаю, почему подобные мысли отступают перед другими в то время. Может быть, если бы я стал раздумывать об этом, то мог бы найти лазейку для оправдания себя самого или даже доказать ненужность того, что я делаю, ведь мне приказывают люди, а они могут ошибаться. Нет, тобой движут не они, не страх перед ними, а то, что выше тебя, то основание, на котором ты стоишь, оно словно приподнимает тебя немного над землей, и ты видишь всё сверху, как будто это происходит и не с тобой даже. А где же я в этот момент, где моя личность, мое незабвенное эго?

Русский треугольник существует, как существует русская земля и русский человек. Он неизменен во все времена. Кодекс офицера Российской империи гласил: «Душу – Богу. Сердце – женщине. Долг – Отечеству. Честь – никому». Мне бы не хотелось, чтобы это менялось во времени.

Это – наш код, внутренняя структура, несущая конструкция. Для меня любой разносторонний треугольник стремится к равностороннему, то есть к гармонии. И чем шире основание, тем длиннее могут быть стороны и тем выше вершина – точка сборки этой конструкции под названием Человек. Нет, я ничего не путаю, а то на первый взгляд получается: вроде как раньше говорил, что эта вершина – сам Бог, а теперь вдруг изменил свои показания... Но человек вписан в треугольник, как на рисунке Леонардо да Винчи... К тому же Христос на Земле тоже был человеком... И от того, какой ты именно треугольник в данный момент, зависит и твое

отношение к миру, и твой взгляд на себя самого. Всё зависит только от тебя. Исходя из этого, происходит и взаимодействие всех трех граней между собой, тоже в данный, так сказать, исторический момент, потому что потом это может измениться, поменяться местами, если одно из условий задачи станет другим.

Но основание русского треугольника всегда длиннее двух остальных сторон. А в той ментальности, где главным является личность, собственное эго, то есть те самые ценности, которые религиозно почитают либерально настроенные индивиды и вследствие чего выражают свое отношение к миру, так вот у них одна сторона, обозначающая их собственную личность, эго – длиннее двух других сторон. В конструкции моего треугольника главная роль отводится приоритетам, то есть тому, как именно они расставлены, ведь от этого меняется и сам треугольник. Значит, русский треугольник не идеальное воплощение представлений о гармонии? А разве я сказал, что русский человек гармоничен? Нет, но он наиболее духовно подвижен в своем стремлении к равновесию. Не имея же его, он тоскует и мучается от этого, ибо подспудно осознаёт, что существует та самая гармония, даже если подобного слова он и не знает вовсе. Но ему как будто от рождения дано некое направление пути, и когда он теряет его, растрачивая себя в мелочах, в мотивированных, рациональных целях, по той причине, что так якобы живут все успешные люди там – на Западе, вот тогда он чувствует себя незванным гостем в этом мире. Ведь они – там, а он – здесь, разница очевидная, но, если она не прочувствована до конца, он теряет себя. И от этой потери возникает странное недовольство собой, нелюбовь к себе и соответствующее желание не видеть себя таковым, чего возможно достичь в алкогольном забвении и что, конечно, не является выходом, а скорее входом в некий иллюзорный мир, в котором всё видится по-другому: сон наяву, часто переходящий в настоящий физиологический сон, где ничего от тебя не зависит, а следовательно, всё происходит само по себе без твоего участия и ты ни в чем не виноват и тебя ничего не мучает больше. Я заметил, как часто в простой речи слова, обозначающие питье, связаны с желанием избавиться от какой-то душевной боли. Пьют, чтобы «полечиться», или еще говорят: «выпей – полегчает», или «чтобы душа не болела». Мне было бы очень интересно узнать, какая мотивация у других народов, но то, что знаю я, означает, что они пьют для радости, для удовольствия, иногда ради того, чтобы расслабиться... Может быть, это все-таки отговорки, обман, а на самом деле они пьют, чтобы приглушить ненужные негативные эмоции, но не признаются в этом даже себе? Быть радостным безусловно приятнее... Нет, мы тоже иногда имеем радостный повод надраться. Но если повода нет, он всё равно есть у русского человека всегда: чтобы забыться. Как будто он понимает, что живет не по-настоящему, неправильно, не так, как ему написано на роду (удивительное выражение: «написано на роду»). Откуда это? Что оно значит? Кто пишет «на роду» и почему это выражение существует у русских? Я заметил, что, если думать, возникают вопросы, а не ответы, а если не думать вообще – вопросов нет никаких...

Когда я дошел в своих размышлениях до треугольника, мне многое стало понятно и об этой стране, и об этом народе, к которому я имею прямое отношение – прямее не бывает, как линия, с которой начинается любое начертание треугольника. Некоторые останавливаются на ней, и большего им не нужно: они идут по линии, как по дороге, ведущей вперед. Час за часом, день за днем, год за годом – до самого конца этой дороги, не сворачивая в сторону. Пленники времени, не знающие о своем пленении, потому что не знают ничего другого и даже не догадываются о другом, не то что этот сумасшедший русский, придумывающий такую сложную фигуру из своей жизни. Для чего ему эти сложности, когда мир может быть так прост, хоть и считается, что он трехмерный? Но мой треугольник как раз и подтверждает эту трехмерность. Я ведь ничего невероятного не придумываю: просто хочу раскрыть суть данного нам свыше знака, возможно, знания, скрывающегося от нас в захлавленной ненужной информацией голове, среди мыслей, часто выдаваемых нам другими, которые мы принимаем за свои собственные, отчего и происходит подобная неразбериха.

Но отсутствие нужной информации или присутствие ложной может изменить структуру треугольника не по твоей вине, потому что иногда ты являешься просто исполнителем чужой воли.

Уже позже я узнал то, что во время войны невозможно было знать. Мне открылись тогда некоторые подробности о том времени. И это знание ввело меня в эмоциональный шок, выхода из которого не было, так как свое прошлое изменить невозможно.

История с развалом армии началась еще в тот момент, когда из Германии были выведены наши войска в никуда, как говорится: в чисто поле. Это был полный хаос, который только набирал обороты со временем. Так, в начале девяностых в некоторых полках оставалось по пять-десять солдат, поэтому офицеры сами ходили в наряды. А чтобы как-то прокормить свои семьи, они разгружали вагоны, охраняли коммерческие палатки или стихийно созданные бордели, указующие явный путь к свободе, свалившейся на нас: эта свобода была размалевана вызывающе ярко и пошло, вроде той самой проститутки, призывающей к себе нехитрыми манипуляциями. Свобода, захватившая нас на низшем уровне, потому что это самое простое и самое первое, что доходит до человека.

Военные, оказавшиеся здесь как бы не к месту, приспособливались к новой жизни, а те, кому не удавалось приспособиться, кончали жизнь самоубийством или уходили в запой и опускались на дно расцветающего капиталистического мира. Именно тогда, как считал Рохлин, началось предательство армии и ее развал. И это говорил человек, прошедший Афганистан. Думал ли он, что в его стране случится такое, когда вертолет, в котором он летел, был сбит моджахедами и упал на скалы? Он чудом остался тогда жив и перенес сложнейшие операции на позвоночнике, чтобы снова встать в строй. И этот человек видел, что происходило с армией перед первой чеченской войной и во время нее, когда войсковые операции не готовились, а проводились порой как будто спонтанно. Конечно, он мог бы смолчать, как делали многие, но не смог...

Я для себя нашел ответ на вопрос, мучивший меня на войне, где мне казалось, что всё происходит случайно, на авось. Получается, что это не казалось... Мне стала понятна и причина отказа генерала от звания Героя России. Он просто не считал возможным для себя смириться с решениями, которые принимались в высоких кабинетах, далеко от того места, где неподготовленных пацанов бросали в топку войны, как поленья. Но если бы только это... Я даже не мог подумать тогда, что воюю не за Родину, а за интересы кучки людей. Рохлин называл их мафией, так как через Чечню прогонялась в больших количествах нефть, которая затем шла за границу, а в карманы этих людей падали огромные деньги. Но я не знаю, прав ли был генерал в том, что с Дудаевым можно было договориться, ведь неизвестно, как далеко тот мог пойти после договоренностей, поддерживаемый Западом. А то, что это было именно так, я знал, потому что сам видел наемников разных мастей, когда они попадали к нам в плен. Видел и оружие, из которых они нас убивали, оно практически всё было иностранного производства. Как же они любили этих «повстанцев», вот так же точно они когда-то любили Гитлера, надеясь, что он расправится с Советским Союзом. Да, что далеко ходить: кто поставлял в Афган оружие моджахедам? Забыли? А те, кто был с нашей стороны, не забыли точно. Ничего нельзя забывать. Как гласит старая русская поговорка: «Прощай своих врагов, но не забывай их имена».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.